

BA
BOOK

РОМАН –
КОНСТРУКТОР

БОРИС АКУНИН

ЛЕГО

Борис Акунин



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
РОМАН

2024

Любое использование материала
данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя
запрещается.

ЛЕГО. Филологический роман / Борис Акунин. –
BAbook, 2024. – 298 с.: ил.

Иллюстрации: Вера Вега

ISBN 978-1-965369-31-9

© Boris Akunin, 2024

© BAbook, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. ЛЕГО

Дневник герцога Лермы 4

Ловець 63

Часть вторая. ТОДО

Темрюкский ужас..... 116

Сон Агафьи Ивановны..... 156

Часть третья. ЧЕГО

Запоздалое..... 190

В Ялту..... 223

Часть четвертая. БУБА

Шустер и Риорита..... 246

Железо и серебро 295

Часть пятая. СОСТРУГ

Случай на курорте..... 311

Командировка..... 349

Часть шестая. ПЕСО

Да-фак..... 385

Какокрымия..... 412

Часть первая

ЛЕГО



ДНЕВНИК ГЕРЦОГА ЛЕРМЫ

Ак-Сол. 5 октября.

Есть люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться необыкновенные вещи. Иной раз мне кажется, что Судьба испытывает к моей особе любопытство особенного свойства. Ей нравится подкидывать меня кверху, словно шарик бильбоке, а затем, когда я вообразу себя свободно летящим, дергать за снурок и ловить в чашечку. Прodelывая со мной подобные штуки, которые ей, проказнице, верно представляются занятными, она с интересом глядит: ну-ка, что мой Мигель?

Впрочем, скорее всего Судьба называет меня «Мишенькой», поскольку эта дама, судя по ее повадкам, русского происхождения и подлинное ее имя, утаиваемое от нас обладателями потаенного знания, есть «Авось». В минуты раздражения, вроде нынешнего, я непочтительно зову ее «Авоськой».

¡Carajo! (Ругательства лучше звучат на испанском, по-русски они слишком мелодичны). Что за скверная оказия! Что за мелочный и злобный каприз природы!

Однажды дон Карлос, любящий пофилософствовать за бокалом двадцатилетней «риохи», пустился в рассуждения о том, что случайных происшествий не бывает и всякая мелочь, по видимости пустая, ниспосылается нам с какой-то целью, известной только Небесам. Желал бы я понять, какого черта Небесам понадобилось засунуть меня в эту забытую богом дыру?

Сегодня утром в Керчи, садясь в лодку, чтобы переправиться на кавказский берег на два часа раньше, чем отойдет пакетбот с пассажирами, я был собою очень доволен. Вера сообщила запиской,

что Командор отправится из Тамани инспектировать укрепления Западной Линии и ранее чем через три, а то и через четыре дня не вернется, оставив жену в Фанагорийской крепости. «У нас будет возможность поговорить и окончить эту муку», – написала Вера, а я решил, что «муку» мы точно окончим и перейдем от *chagrins d'amour** к ее *plaisirs***. Трех и тем более четырех дней вполне достаточно, чтобы убедить добродетельную любящую женщину, что колебания между добродетелью и любовью не должны быть слишком долгими, иначе это становится скучным.

Итак, я отплывал на снятом за десять «карбованцев» баркасе, исполненный самых радужных надежд. Волны переливались лазурью, щедро подзолоченной солнцем, дул ласковый ветерок, белый парус хлопал и раздувался, мой славный Максимо, всегда оживляющийся под морским бризом, пел матросскую песню про галеон из Вера-Круса. Вдруг кормщик-татарин, поглядевши на маленькую сизую тучку, выползавшую из-за кромки уже

* мук любви (фр.)

** удовольствиям (фр.)

недальнего колхидского обрыва, пробормотал:
«Ай, яман! Кыхблэ!».



Татарское слово «яман» мне было известно, оно означает «дело дрянь», а смысл черкесского «кыхблэ» я узнал через четверть часа. Это значит «длинная змея» – ветер с дальних гор, который подкрадывается, как змея, и если уж напал, то скоро не отпустит.

Небо будто запахнулось косматой буркой, вода вздыбилась и вскипела, лодка стала ложиться на бок. Мы едва проскочили в прикрытую песчаной косой бухту, как на море начался нешуточный шторм. Мой татарин сказал, что буря может продлиться и *еки кюнге* (два дня), и *афта* (неделю); что в такую погоду через пролив ходить нельзя и не прибавит ли ему «бачка», то есть я, сколько-нибудь денег ради такого несчастья, ибо когда он, горе-мычный, теперь попадет домой к жене и детям, ведает один Аллах. Максимо, старый морской волк, приняхавшись к ветру, тоже с уверенностью объявил, что скоро *el huracan* не утихнет. Сначала я в сердцах послал ни в чем не повинного татарина к шайтану, но тут же раскаялся в жестокосердии, дал ему еще десять рублей и, делать нечего, отправился в комендантскую контору просить пристанища. Мне не остается ничего иного кроме как уныло распевать «My Bonnie is over the ocean» в течение то ли *еки кюнгэ*, то ли целой *афта*. ¡Joder!

В конторе мне было со всей казенной российской строгостью сказано, что квартиры в крепости предоставляются только военным, следующим по служебной надобности, а моя подорожная

«приватно путешествующего иностранца» вызвала у титулярного советника привычную подозрительность, которая столь же привычно была смягчена подношением «барашка в бумажке» (на испанском «ovejito en papel» звучит еще прелестней). Чиновник ловко накрыл «красненькую» картонной папкой и сделался любезен.

– Неужто вы, сударь, настоящий испанский герцог? – спросил он. – Как герцог Альба? А каково именование герцогов – «сиятельство» или «светлость»?

Все мало-мальски образованные русские знают герцога Альбу, потому что читали шиллерову пьесу про того, другого дона Карлоса, но про нашего родоначальника Франсиско Гомеса де Сандоваля, первого герцога Лерма, прославленного не менее Альбы, в России не слыхивали, что было бы чертовски обидно, если б я умел обижаться на что-либо кроме плохой погоды, а именно она и является сегодня главным моим оскорбителем.

Я положил на стол еще и «синенькую», сказав, что нехорошо оставлять герцога в такую бурю без крова.

– Квартиры ей-богу нет, ваше сиятельство, – развел руками чиновник. – Единственная незанятая приготовлена для генерала Оленина, которого ждут со дня на день.

«Вот я бы там и поселился, благо генерал уедет, а его супруга останется», – произнес я, но, разумеется, *dans ma tête**.

– Да как же вы, ваша светлость, так чисто говорите по-нашему? – повысил меня в «титуловании» мой собеседник, прибрав третьего «барашка», которые понемногу собирались в небольшое стадо. – Неужто у вас, испанцев, в обычае знать русский?

Я с Одиссеевым хитроумием отвечал:

– Язык победителей Наполеона славен во всей Европе.

И этим растопил патриотическое сердце славного титулярного советника лучше, чем мздой.

– Поищите квартиру в станице. Я вам дам записочку к атаману Тарасу Богданычу, он мне кум. Атаман добрая душа, он что-нибудь да сыщет.

И вестовой солдат сопровождал меня в поселение, находящееся неподалеку от крепости. По виду

* мысленно (*фр.*)

оно совершенно малороссийское. Бабы бегали по дворам, снимая с плетней сушившееся белье и ловя куриц – ветер становился всё сильнее. Слышалась только украинская речь. Черноморские казаки, поселенные на кавказском берегу в предыдущее царствование, есть потомки грозных запорожцев, про днепровскую республику которых я писал, когда следовал из Москвы в Крым.

Знаменитым местом является и Тамань, при том история ее много древнее Сечи. Когда-то здесь находилась полулегендарная Тьмутаракань, русское княжество, отделенное лихой Степью от киевской метрополии.

И, конечно, я вспоминал бабушку Елизавету Родионовну.

Я обманул доверчивого титулярного советника, сказав, что язык победителей Наполеона славен по всей Европе. Не рассказывать же мелкому мздоимцу историю моей жизни? В 1812 году Наполеон завоевать Россию не смог, но мой отец, очень красивый субалтерн андалусийских егерей de la Grande Armée*, сумел завоевать сердце моей русской матери и, возвращаясь из дальнего похода,

* Великой Армии (*фр.*)

привез ее с собой в Испанию. За единственной дочерью последовала на чужбину и бабушка.

Матери своей я не знал, она умерла родами, от нее остался только портрет, с которого глядит совершенный ангел. Вырастила меня бабушка. Отец наезжал к нам в Торремолинос из столицы редко, а Елизавета Родионовна была со мною неразлучна. Говорила она только по-русски, рассказывала только русские сказки, а читать я учился по выписываемому ею «Вестнику Европы» и томам «Истории» Карамзина. Владимир Красно Солнышко мне больший знакомец, чем Сид Кампедор, ибо мой испанский учитель fray Gonzalo был изрядный лентяй. Вот и дневник я пишу на русском. Эту привычку я завел на войне, чтобы доверять свои мысли и наблюдения бумаге, не опасаясь чужих глаз. Нашего благородного, но простодушного дона Карлоса со всех сторон окружали иезуиты, а они не могут обходиться без интриг и шпионства. Они вечно пытались омрачить нашу дружбу с его высочеством. Я терпел эту доuku, пока военная фортуна не склонилась в пользу карлистов, а когда армия двинулась на Мадрид, счел свой долг исполненным. Победа это очень скучно. Мне захотелось странствовать.

И что же? Меня ждало разочарование. Ни блеск парижских салонов, ни чопорная надменность Мэйфэра, ни пыльные древности Рима несколько меня не развлекли. Я отправился дальше, на родину матери и бабушки, надеясь увидеть здесь нечто иное, но меня ждало еще худшее разочарование. Россия очень похожа на Испанию, только холодная, и пьют здесь не вино, а водку.

Прости меня, милая бабушка. Я старался полюбить страну, о которой ты говорила со слезами на глазах, но не сумел. У меня слишком холодное сердце, и ему всё скучно.

Однако ж я отвлекся от описания моих мытарств.

Прочитав записку, переданную солдатом, вислоусый Тарас Богданыч сказал, что в станице «ничего немає» и что мне надо ехать «в слободу к буджакам». Их в прошлый год «резали черкесы» и оттого «мабуть» есть пустые хаты.

Про буджаков я слышал. Это тоже бывшие запорожцы, но не покоровшиеся Екатерине, а ушедшие за Дунай служить султану. Под властью Порты они прожили лет тридцать и изрядно отуречились, однако при царе Александре вернулись в пределы

империи и были приписаны к Черноморскому казачьему войску. Произнеся слово «буджаки», атаман покривился, из чего я вывел, что двойные ренегаты считаются у черноморцев париями, вроде евреев, а их слобода, верно, является чем-то наподобие гетто.

– К буджакам так к буджакам, – ответствовал я. Мне и вправду было все равно. Привередлив я только в роскоши. В лучшей парижской гостинице «Пале-Рояль» я сменил три номера, прежде чем удовольствовался цветом штор и мягкостью постели. Но в походных условиях я спартанец, могу спать хоть в шалаше, положив голову на седло.

За повозку до слободы Тарас Богданович запросил пятнадцать рублей.

– Это так далеко? Тогда слобода мне не подходит. Мне надобно часто бывать в крепости.

Ни, был ответ, недалёко, лише десять верст. И я успокоился. Должно быть, в записке от кума куму сообщалось, что я не испанский герцог, а лидийский царь Крез.

Уж лошадь в казачьей слободе я как-нибудь добуду, рассудил я, а десять верст это всего полчаса легкой рысью.

Мы сели в скрипучую, тряскую двухколесную телегу, несколько напоминающую нашу *cargo mauritano*^{*}, и поехали.

Флегматичный возница на облучке дымил препахучим табаком и сплевывал. Максимо, обладающий завидным талантом спать в любых условиях, немедленно захрапел. Однажды он уснул во время кровавого сражения под Алавой, пока полк дожидался приказа идти в атаку.

Под немзыкальный *assombragement* скрипа, плевков и храпа я лениво размышлял о скуке. Это наследственная болезнь рода Сандовалей. От скуки есть только два лекарства. Одно дает временное облегчение, другое – вечное. Второе (имя ему «смерть») никуда не денется, первое же называется «волненье». Оно желанный, но нечастый гость моих будней.

Мое теперешнее лекарство – Вера. Она заставляет мое вялое сердце волноваться. Не до экстаза, а лишь до трепета, однако ж для Мигеля де Сандовала это уже очень много.

Что сказать про нашу любовь? В романе бы написали: «Она была романтическая дама, он

^{*} мавританскую повозку (*исп.*)

пылкий испанец, могло ль произойти иначе?». Но в Вере романтичности не более, чем во мне пылости. В циническую минуту я говорю себе, что ларчик Вериней любви ко мне открывается просто. Ее Командор – человек в высшей степени достойный и порядочный, а поскольку Вера сама существо в высшей степени достойное и порядочное, с таким мужем она несчастна, ибо две сходности не нуждаются друг в друге. Во мне Вера угадывает свою противоположность, это ее и притягивает.

Я же недавно понял про *mon obsession de Vera** нечто почти комичное, во всяком случае странное. Глаза Веры неизменно печальны, в них словно погас свет, но стоит им посмотреть на меня, и взгляд наполняется нежным сиянием, а лицо, всегда серьезное и грустное, озаряется драгоценной улыбкой, похожей на проскользнувший сквозь листву солнечный луч. Точно так же смотрела на меня бабушка. Она умерла, сидя в креслах. Вдруг опустила книгу, сделалась очень бледна, взялась за сердце и прошептала: «Храни тебя Господь, Мишенька». Взгляд ее залучился нежностью, лицо на

* мое помешательство на Вере (*фр.*)

миг осветилось улыбкой, смысла которой я доселе не понимаю. Потом веки сомкнулись, голова опустилась, и бабушки не стало. Хотел бы и я умереть так же.

Любить в женщине собственную бабушку – не смешно ли? А может быть, я, как это мне свойственно, возвожу турусы на колесах. (Немногие русские могут объяснить происхождение сей *idiome*, а я благодаря бабушке и Карамзину знаю). Причина моей *obsession* незамысловата. Вера меня любит, но сохраняет верность Командору, и это распаляет мое тщеславие. Вот и вся разгадка «волненья».

Ах, да что за разница, в чем его причина! Главное, что близ Веры я живу, а вдали от нее засыхаю. Должно быть, это и есть любовь, которую воспевают поэты, как обычно всё безбожно преувеличивая. Каждый день, который я проведу здесь без Веры, будет мукой. *Maldito*** «кыхблэ»!

Пейзаж поначалу был столь же тосклив, как мои мысли. Ветер дул порывами, высокие травы стелились по земле, в черно-сером небе кричали

** проклятый (*исп.*)

вороны, радуясь непогоде. Вдруг, за плавным холмом, открылся вид, который всякого другого привел бы в еще большее уныние, а меня оживил.



Дорога шла мимо заброшенного мусульманского кладбища. Памятники на нем были большею частью повалены, могилы разрыты, там и сям белели человеческие кости. Посредине торчала

угрюмая каменная башня. У нас средневековые мавры ставили на погостах такие же, они называются *sentinel de meurte** и призваны оберегать покой мертвецов. Однако покоя здешних мертвецов часовой не уберег.

Кто и зачем разрыл могилы, спросил я моего курильщика.

– Та наши дурни, – равнодушно молвил он. И объяснил на смеси русского с украинским, что в прошлом году прошел слух, будто на старом татарском кладбище зарыты сокровища, и «багато дурнив збожеволили» (сбесились). Раскопали всё «кладовище», ничего не нашли, да так и бросили. Теперь мимо «издыты погано».

При звуке моего голоса Максимо немедленно пробудился. Поглядел вокруг, перекрестился. Сказал озабоченно: «Скверная штука тревожить покойников». Как положено настоящему *mala-gueño***, он очень суеверен. Никого живого Максимо не боится, но зажмуривается от страха, когда слышит про нечистую силу.

* часовой смерти (*исп.*)

** малагуэньо, уроженец Малаги (*исп.*)

За кладбищем дорога поднялась, снова спустилась, и поодаль показались строения. «Вона Буджакивка, – показал кнутом наш казак. – По-иншому, по-татарски, Ак-Сол».

Два десятка домишек стояли на морском берегу под крутым утесом с выбеленной солнцем и ветрами макушкой. Утес видно и дал название деревне. «Ак-Сол» значит «белый левый». Правее виднелся еще один утес, с черною верхушкой. Готов биться об заклад, что прежние жители этих мест нарекли его Кара-Саг, «Черный правый». Народы, живущие в простоте, редко озабочиваются поэтическими названиями.

Мы проехали мимо мазанки, стоявшей наособицу. Дом был нежилой – дверь распахнута, окно разбито, но впрочем живописный со своими белыми стенами и красною черепитчатой, а не соломенной, как у остальных хат, крышей, и вид оттуда должен был открываться превосходный. Я взял сей эскориал на заметку, и когда слободской алькальд, как две капли воды похожий на «Тарас Богданыха», только пообтрепанней, завел ту же песню про «ничого немає», я сразу положил на стол ovejito и спросил: а что же брошенный дом на обрыве, подле старого кладбища?

– Ви, добродию, на ту фатеру не захочете, бо там нечисто, – ответил принципал, изрядно меня удивив, поскольку его собственное жилище сам Авгий счел бы неопрятным. Довольно сказать, что прямо под столом блаженно похрюкивал сладко дремлющий поросенок.

– Пустое. Найму бабу, почистит, – сказал я. – А впрочем как угодно...

И протянул руку, как бы намереваясь забрать «барашка» обратно.

Это подействовало.

– Тут не баба, тут поп нужен, да у нас церкви нема, – проворчал Тарас Второй, но более меня не отговаривал.

По дороге к добытому с такими трудами пристанищу он поведал историю, которую я выслушал с интересом. Она совершенно в духе прелестных иллирийских баллад Мериме.

В доме на отшибе еще недавно проживал в одиночестве некий человек по прозвищу Чаклун (что означает «Колдун»), «дуже пидозрилая людына». Слободские его побаивались и не любили. Несколько дней назад Чаклун вдруг исчез. Дверь

хаты была заперта изнутри, но окно выбито, а сам обитатель испарился, притом на столе осталась снедь и, что особенно поразило рассказчика, недопитый штоф «горилки».

– И что ж, Чаклун так и сгинул? Бесследно? – с любопытством спросил я.

– Якби (если б) безслидно!

Мой чичерон перекрестился и сплюнул.

Оказалось, что на склоне утеса, давшего название селению, нашли кострище, подле которого на земле валялась одежда пропавшего колдуна, «дуже справная», и от углей исходил сильный запах паленого мяса. А самого Чаклуна нигде не было.

– Куда ж он мог деться?

Тарас Второй поглядел на меня как на недоумка.

– Як «куда»? Видлетив з дымом до своего хозяина Сатаны.

И опять закрестился-заплевался, притом умудрялся это делать одновременно.

Хорошо, Максимо, тащивший сзади чемоданы, не знает никаких наречий кроме родного андалусийского да кастильского, который он выучил

на морской службе, иначе после такого рассказа мой малагуэньо повернул бы обратно, и я бы остался без крыши над головой.

Сейчас, когда я сижу за столом улетевшего с дымом колдуна и пишу свинцовым карандашом в моей тетрадке, Максимо наводит в нашем временном пристанище уют.

Разбитое стекло из рамы он вынул, поскольку это дурная примета, и закрыл ставню, чтоб не задувало ветром. Комната окривела, сделавшись одноглазой – осталось второе окно, со стеклом. Потом мой дядька (назвать Максимо слугою нельзя, он пестует меня с двенадцати лет) соорудил перину, набив мешок травой. Устроил он ложе и себе, по-моему, более мягкое, чем мое, и теперь, напевая, готовится варить на очаге похлебку.

С «фатерой» мне повезло. В христианском смысле Чаклун, возможно, и нечист, но зато в домашнем обиходе покойник был чистюлею, а я всегда предпочту бытовую чистоту духовной. Стол гладко выструган, сижу я на настоящем стуле, светит мне не лучина, а стеклянная лампа. От суеверного страха слобожане еще ничего отсюда не вынесли. Главной же роскошью является пол. Он

не земляной, как это повсеместно заведено в сельской России, а деревянный и даже с претензией на паркет: доски нарезаны полуторафутовыми квадратами, плотно подогнанными друг к другу. Тот, кто, подобно мне, останавливался на дрянных постоянных дворах и в крестьянских избах, хорошо знаком с земляными блохами, резвыми спутницами бессонных ночей.

Кажется, я отлично выплусь под завывание ветра, а завтра найму лошадь и изучу окрестности славной Тьмутаракани.

Однако мой мажордомо колотит по котелку, что в нашем palais ducal* означает: «Le diner est servi»**. Сменяю перо на ложку.

Ак-Сол. 6 октября

Ночью я видел интересный сон – кажется, впервые в жизни. Увы, мои сны столь же скучны, как явь, и даже еще скучнее. Наяву со мною изредка (а мирный обыватель сказал бы, что и слишком часто) случаются вещи необычные, но мои

* герцогском дворце (фр.)

** Ужин сервирован (фр.)

сновидения столь тусклы, что я по несколько раз за ночь просыпаюсь от скучливой зевоты. Мой сон легок и прерывист. Я всегда завидовал Максимо, который хвастает, что ему являются по ночам то ведьмы, то русалки.

И вот сегодня у меня самого появился повод для хвастовства. Когда я рассказал сон, мой дядька напугался и даже вынул из-под рубахи образок Святого Яго. Это дороже аплодисментов.

Мне приснилось, что я просыпаюсь от скрипа. Была кромешная тьма. За окном дул ветер, в небе погромыхивало, приближалась гроза, а где-то поблизости слышался волчий вой. Я хотел было повернуться на другой бок, думая, что проснулся, как вдруг единственное окно озарилось сиянием молнии, грянул гром, и хижина осветилась. Посередине комнаты чернела тонкая женская фигура. Я увидел ее со спины и очень явственно, будто не во сне, разглядел длинные, спускающиеся по плечам волосы. В следующий миг всё погасло.

– ¡Oye, fantasma! – воскликнул я. – Espera! Déjame mirarte!*

* Эй, призрак! погоди! Дай тебя рассмотреть! (исп.)

Отлично помню, что произнес эти слова на испанском. Должно быть, мой разум, хоть и оцепенелый от сна, рассудил, что в России привидений не бывает. Во всяком случае, в бабушкиных сказках они никогда не появлялись.



Будто желая исполнить мою волю, молния сразу же ударила вновь, и сделалось светло. Но в комнате никого не было. Разочарованный,

я опустил голову на подушку и провалился в иные сны, обыкновенные. Мне стала сниться пыльная дорога от Вальдепенсо на Консуэгру, а это одно из скучнейших зрелищ на свете.

Выслушав мой рассказ, Максимо пожелал знать, какого цвета волосы были у моего виденья, и, услышав, что белые, перепугался еще больше. Это *Llorona Blanca*, сказал он, ищет своих покойников. Нечего было селиться подле разоренного погоста. У Йороны черное платье и длинные белые волосы, а помогает Белой Плакальщице *El Lobo Muerto**. Упаси пресвятая Дева попасться этой парочке ночью, они могут принять живого человека за мертвяка и уволочь под землю.

Очень довольный произведенным эффектом, я с аппетитом позавтракал. Ветер по-прежнему задувал во всю мочь, но дождя не было, и я отправился в слободу нанять лошадь. Максимо нелюбопытен, он остался дома. Ему никогда не бывает скучно. В молодости, на морской службе, он нагладелся всякого, и любимое его занятие, ежели нет никаких дел, сидеть по-турецки, прислонившись к стене, и надраивать наваху. Он то щелкнет

* Мертвый Волк (*исп.*)

лезвием, то уберет его, потрет бархоткой, подышит, еще потрет, полюбуется на свое отражение, и так тысячу раз. Я знаю, что, сколько бы я ни отсутствовал, найду Максимо в той же позе, напевающим или дремлющим. Истинно счастлив тот, кто довольствуется малым!

В первой же хате я добыл превосходную лошадь всего за полтину в день, а когда сказал, что намерен покататься по окрестным горам, мне за те же деньги впридачу дали ружье, поскольку только «божевильный» (сумасшедший) отдалится от «шляха» без этого необходимого в здешних краях предмета – так никому в Малаге не придет в голову выходить летом на прогулку без веера.

Повесив штуцер через плечо, натянув плотнее свой мерлушковый картуз, я сначала порысил к обрыву посмотреть, сколь бурливо море и не видно ль парусов.

Волны пенились и ярились всё так же, горизонт пустынствовал, но в укромной бухточке меж острых скал покачивалась фелюка, которой вчера, проезжая мимо на повозке, я не видел. Значит, всё же кто-то осмеливается выходить в море? Быть может, приплыл и пакетбот.

Окрыленный, я шлепнул по крупу свою каурую и поскакал в крепость. Но в портовой конторе мне сказали, что корабли через пролив по-прежнему не ходят и, кажется, не поверили моему рассказу о прибывшей фелюке. «Только умалишот выйдет в море при такой волне», – изрек почтовый чиновник, а когда я спросил, скоро ль стихнет кыхблэ, он философически отвечал: сие одному Богу известно.

Тогда у меня возникла мысль, не нанять ли бесстрашную фелюку для переправы обратно в Керчь. Лучше коротать время подле Веры, чем торчать одному в скучной Тьмутаракани. Я чувствовал себя касожским витязем Редедею, коего в сем проклятом месте сразил предательским ножом Мстислав Хоробрый, принявший вид «длинной змеи».

В долине свистало и завывало, тучи неслись по небу наперегонки, но меж ними, будто проблеск надежды, стали проглядывать голубые пятна. Я ехал шагом, готовый повернуть обратно в крепость, если ветер начнет спадать.

Тщетно! Будто подразнив меня, тучи сомкнулись, и чертова «длинная змея» расшипелась пуще прежнего.

Спешившись у обрыва, я спустился по каменистой тропинке к берегу бухты. Она была защищена от неистовства волн сходящимися буквой «С» краями и внутри пещрилась лишь умеренной рябью. Меня обрадовало, что рядом с суденышком на веревке раскачивался маленький ялик. Значит, люди на борту.

Я стал кричать, звать, но никто не выглянул. Море заглушало все звуки, а голос у меня не зычный. Никто не высунулся и после того, как я выстрелил в воздух. Должно быть, экипаж напился вина и крепко спит, как это заведено у моряцкой братии в «неходную» погоду.

Уже вечерело. Я решил, что вернусь сюда утром. Как говорят немцы, Die Morgenstunde hat Geld im Munde*. По-русски это звучит почти столь же красиво: «Утро вечера мудренее».

Несколько времени, пока не стало смеркаться, я катался по узкой долине, не столько любуясь пейзажами, довольно однообразными, сколько зевая, а потом вернулся в свое временное пристанище. Почитал купленную еще в Симферополе книжку, презабавные малороссийские страшные повести

* у утреннего часа золото во рту (нем.)

про чертей, русалок и оборотней, а теперь пишу дневник. Максимо жарит застреленную из казачьего ружья чайку. Пахнет жаркое премерзко, ну да я не привередлив. При осаде Бенареса я едал рагу из крыс.

Ак-Сол. 7 октября.

То был не сон! Она явилась вновь! Не знаю, что она такое, в привиденья я не верю, но нет, не сон. Как интересно!

Ночь опять выдалась беспокойная. Буйствовал ветер, грозы пока не было, но в небе то и дело полыхали зарницы. К порывам ветра я привык, они мой сон не тревожили, и пробудился я не от них, а от препротивного скрежета, какой возникает, когда ногтями скребут по стеклу. Отвратительный звук доносился от того окна, что не было закрыто ставнею. Должно быть, ветер шевелит ветки сухого куста, торчащего там из земли, подумал я, приоткрыв глаза, и собрался натянуть на голову бурку, заменяющую мне одеяло, но тут вспыхнула зарница, и я увидел такое, что спать расхотелось. В окно действительно скреблись ногти! По стеклу

водила скрюченными пальцами костлявая рука скелета, и внутрь заглядывал череп!



Я вообразил, что мне лишь снится, будто я проснулся, и я опять, как давеча, порадовался: на двадцать пятом году жизни наконец и я научился видеть кошмары! Свет померк, рука и голова мертвеца исчезли. Я подождал, не явится ли еще

какого-нибудь увлекательного видения. Но остался только скрежет, который мне скоро наскучил. Ну право, подумал я, что это за кошмар, который можно лишь слышать, но не видеть. А через минуту-другую стихло и скрипенье. Я вновь уснул, но через не знаю сколько времени опять был разбужен, на сей раз звуком вполне посторонним. В сарае громко ржала и билась о стену копытами Ненажора (так прозаично зовут мою каурую). Среди прочих языков я неплохо владею и конским, половину детства я провел на конюшне и сразу слышу, когда лошадь блажит, а когда она по-настоящему напугана. Ненажору что-то привело в лю-тый ужас, надо было ее успокоить, пока она себя не покалечила. Скоро разъяснилась и причина – где-то близко, чуть не прямо за плетнем, раздался вой волка.

Я вышел наружу с заряженным штуцером. Вставши у изгороди с ружьем наперевес и повернувшись в ту сторону, откуда время от времени неслись завыванья, я стал ждать следующей зарницы. Несколько раз небо прогремело впустую, без вспышек. Потом наконец тьма с грохотом оза-рилась.

Я приложился к прикладу и выстрелил, увидев хищника именно там, где ожидал – в полусотне шагов, на низеньком пригорке. Обычно с такого расстояния я промаху не даю, но тут моя рука дрогнула. Рядом с большим, видно матерым волком чернела тонкая женская фигура. Я заметил ее в миг, когда спускал курок, и непроизвольно отвел дуло в сторону.

Это была она, моя ночная гостья! В сиянии небесного огня блеснули серебром длинные белые волосы!

Опять, как тогда, через несколько мгновений зажглась другая зарница. И опять ночное привидение исчезло. Но теперь я знал, что не сплю. Ветер холодил мне лицо, пахло порохом, ржала и билась лошадь. Я долго ее успокаивал, вернулся в хату весьма оживленный приключением и теперь при свете лампы пишу дневник. Скоро огонь будет уже не нужен. Светает.

Мистические события происходят с нами, Сандовалями, издревле, еще со времен El Duque Primero*. Это у нас в роду. Я вырос на семейных легендах о явлениях ангелов и чертей, помогавших

* Первого Герцога (*исп.*)

моим предкам излечиться от наследственного сплина. Кажется, настал и мой черед.

Но чем светлее делается в комнате, тем больше во мне скепсиса. Утро вечера если не мудренее, то рационалистичней. Что в увиденном ночью случилось на самом деле, а что примерещилось полусонному рассудку при неверном, кратком свете зарниц? За руку скелета я мог принять ветки мертвого куста – вон они, голые, чернеют за окном. Волк несомненно был, но деву рядом с ним могло прифантазировать мое воображение.

Максимо мирно проспал всё ночное волнение. Звук ружейного выстрела, должно быть, слился для него с рокотанием неба, а впрочем бывшего корабельного канонира не разбудишь и пушкой. И слава богу, что он проспал, иначе мой *supersticioso*** потребовал бы, чтоб мы немедленно съехали с квартиры, а она мне ей-богу нравится всё больше и больше.

О боже. Увлеченный писанием, я не заметил, что льющийся из окна свет желт и что ветки куста не качаются! Утро ясное. «Длинная змея» уползла!

** суеверец (*исп.*)

В крепость, скорее в крепость! Вера, должно быть, уже плывет через пролив.

Пополудни.

Перечитал писаное утром.

Ночное приключение иль полунаваждение – химера, а истина состоит в том, что я люблю Веру. Меня наполняет не любопытство, которое я испытывал при свете зарниц, а сердечное волнение. Оно как вода, хлынувшая в сухой арройо после ливня и вернувшая к жизни выжженную летним зноем землю.

Я должен записать каждое сказанное Верой драгоценное слово.

Мы встретились взглядами, когда она спустилась на причал. Я приподнял цилиндр и слегка поклонился из толпы. Вера зарделась, лицо ее оживо. Я не мог оторвать от нее взгляда и еле посмотрел на шедшего подле Командора. Тот важно кивал встречающим офицерам.

Потом я часа два простоял за узловатым вязом, от которого хорошо виден комендантский дом, где разместили Олениных. Вот подали коляску, выстроился казачий конвой. Спустился

генерал в походной фуражке, денщик нес за ним вализу. В окне бельэтажа показалась Вера, помахала рукой, и ее супруг отправился в свою инспекцию, откуда бог даст скоро не вернется.

Вера стояла, оглядывая плац. Я шагнул из своего укрытия. Она кивнула. Еще четверть часа спустя Вера вышла под кружевным зонтиком – октябрьское солнце светило ярко, словно в отместку долгой непогоде. Служанка несла сложенным второй зонтик, дождевой. Это очень в духе Анисьи, она ясному небу доверяет не больше, чем людям. Анисья – Максимо в юбке. Не столько служанка, сколько дуэнья, неразлучная с Верой чуть не с младенчества. Заботливая, ворчливая, деспотичная, Анисья предана своей подопечной всей душой.

За углом я догнал их.

– Явился, черт, – приветствовала меня суровая матрона. Она считает меня посланцем Лукавого, грозящим Вере гибелью, но не выдаст тайн госпожи и под пыткой.

Вера, как всегда, одарила меня волшебной улыбкой, одновременно ее глаза увлажнились от слез. Мы шли в шаге друг от друга, будто светские

знакомые. Вера беспрестанно говорила своим милым грудным голосом.

– Я скверная, гадкая женщина, – начала она так, будто мы только что расстались. Как-то она призналась, что постоянно ведет со мною внутреннюю беседу, даже когда я далеко. – Бог меня накажет за это. Чем безупречней ведет себя бедный Дмитрий, тем больше он мне отвратителен. Мне невыносим его голос, его ласковый взгляд, его готовность предугадывать все мои желания – в то время как я желаю только одного: быть подальше от него и поближе к вам. Сейчас, перед расставанием, он сделал мне подарок, который, по его разумению, должен меня порадовать. В Симферополе он от кого-то услышал, что законодательница мод княжна Лиговская завела обычай печатать на cartes-de-visite одну только свою фамилию, и это считается *в большом свете* чрезвычайно en vogue*. И вот муж тайком отправил в здешнюю военную типографию наказ изготовить для меня карточки, чтобы я по прибытии в Пятигорск поразила тамошнее общество своей столичностью. Полюбуйтесь.

* модным (фр.)

Она протянула картонку, на которой золотыми буквами было напечатано «Olenina».

– Очень мило.

– Я и сама знаю, что мило. Но первая моя мысль была: да, да, я – олені́на, я охотничий трофей, я подстреленное животное. И меня охватило чувство ненависти к бедному, ни в чем не повинному мужу...

Мы вышли из крепости и спустились в травянистый ров, закрытый как от солнечных лучей, так и от чужих глаз.

Я постелил на землю свой суконный *redingote*. Мы сели рядом. Анисья осталась наверху сторожить наше уединение. Было жарко, Вера по минутно вытирала платком свое премило вспотевшее личико, и платок в конце концов вымок. Я развязал шейный *cravate* и протянул ей, заодно пустив под рубашку немного прохлады.

Вера прижала *cravate* к лицу, вдыхая мой запах. Этот жест взволновал меня больше любых страстных признаний.

– У вас крест? – Ее глаза были устремлены на мою открывшуюся грудь. – Вот уж не думала, что вы набожны.

Я вытянул за цепочку медальон.

– Не крест. Семейная реликвия Сандовалей. Передается от отца старшему сыну скоро уж два с половиной столетия. Поскольку обзаводиться детьми я не собираюсь, на мне эта традиция и закончится.

– Какая тонкая работа, – восхитилась Вера медальоном. Он и в самом деле хорош, его двести лет назад изготовил из красного мексиканского золота знаменитый придворный ювелир Реверте. – А что внутри?

– Вы будете разочарованы. Как это часто бывает со священными реликвиями, рака намного драгоценней содержимого.

Я расстегнул замочек и вынул мой Media-Peso*.

– Половинка серебряной монеты? – удивилась Вера. – А почему ее край так странно зазубрен?

– Это семейная легенда.

– Расскажите!

– Мне жалко тратить на это время. Я хочу слушать ваш голос, а не свой, – ответил я.

* пол-песо (фр.)

– Времени больше и нет. – Вера поднялась. – Я должна вернуться, комендант ждет меня к обеду. Хотите ли вы увидеть меня сегодня еще?

– Вы спрашиваете!

– Тогда вот вам задание. Я приду сюда вновь как только смогу, а вы, чтоб не скучать, напишите на страничках вашей тетрадки про реликвию. После вырвете и отдадите мне. Такого рода письмо я смогу хранить без опаски.

Она ушла, а я коротаю время за дневником и сейчас с новой странички приступлю к исполнению полученного задания.

Alors*.

ЗАКЛЯТИЕ САНДОВАЛЕЙ

Основатель нашего рода Франсиско Гомес де Сандоваль-и-Рохас прежде чем стать главным министром, герцогом Лерма и прочее, был бездельник, томившийся скукой и в поисках спасения от нее пускавший во всяческие эскапады. Такие субъекты, подобные пресловутой loose cannon**,

* Ну что ж (*фр.*)

** сорвавшейся с канатов корабельной пушке (*англ.*)

чаще всего и достигают величия, если не свернут себе по дороге к нему шею.

Однажды, задолго до величия, дон Франсиско – ему в ту пору было лет двадцать пять – оказался в Венеции, где он проигрался в пух и прах, сохранив из всего имущества одну только шпагу. Будучи истинным католиком, то есть свято веря в силу молитвы, он обратился со страстным молением к Святому Марку, покровителю плавучего града, о спасении от позора долговой ямы. И что же? В опустевшем, казалось, кошеле вдруг сыскалась серебряная монета – песо в восемь реалов, чудом уцелевшая при игре.

Воодушевленный этим знаком, дон Франсиско, конечно же, сызнова направился в дом греха, уверенный, что при столь явном покровительстве небес сумеет повернуть Фортуну в свою пользу и отыгратья.

Когда кабальеро проходил по мосту Риальто, к нему воззвал седобородый нищий, подле которого сидела рыжая собака.

– Сеньор, – сказал нищий, – я иззяб и немощен, а мой пес скулит от голода. Смилуйтесь, спасите нас!

Дон Франсиско был хоть и повеса, но добрый малый. Он не мог оставить несчастного без подаяния. К тому ж игроки народ суеверный, а не подать милостыню перед игрой – дурной знак. Поставлю на кон пол-песо, сказал себе идальго. Вынул единственную монету и ударом кинжала несравненной толедской стали рассек песо пополам. В те времена песо ценился на вес серебра, и монету в восемь реалов при расчете нередко рубили на две, четыре и даже восемь частей.

В тот вечер моему предку сказочно везло. Он делал ставку четыре раза, один к четырем, и неизменно срывал банк, так что четыре реала обратились в тысячу. С тех пор у Сандовалей четверка почитается счастливою цифрой.

А ночью дону Франсиско приснился сон, записанный в нашей хронике.

Счастливец явился нищий с моста Риальто, но старик был не оборван, а наряжен в сияющие одежды, и рыжий пес обратился в огнегривого крылатого льва. Спящий понял, что пред ним сам Сан-Марко, попечитель Венеции.



– Ты не черств, но и не сердечен, не малодушен, но и не великодушен, – рек святой громовым голосом. – Лишь отдающий себя без остатка обретет блаженство, но отмеряющий Божью любовь мерною мерой останется полусыт и полунаг. Быть тебе и твоему потомству полусчастливыми и полунесчастливыми, не горячими и не холодными, но теплыми, пока половинки этого серебрянника не соединятся.

Святой Марк раскрыл руку. На ней лежала та самая монета, но не рассеченная пополам, а целая. Лев взял у апостола с ладони песо своими острыми зубами и подошел к моему предку.

– Бери, – велел евангелист.

Дон Франсиско дернул монету, но лев держал крепко. Идальго дернул со всей силы – и в пальцах осталась половинка. Сияние померкло, видение исчезло. Но утром, пробудившись от сна, мой пращур обнаружил, что сжимает в кулаке кусок монеты со следами зубов.

С того дня былой бездельник переменился. Он сделался высок помыслами и целеустремлен. Во всех начинаниях ему способствовала удача. Король чтит дона Франсиско за ум и доблесть, сделал его первым министром, возвел в герцогское достоинство, но ни успехи, ни почести не доставляли баловню Фортуны счастья, дни его были безрадостны. Веселье его было скучливым, богатство и власть не пьянили, любовь красавиц согревала, но не воспламеняла. Всё было ему, как библейскому царю, суета и томление духа. Под старость он удалился от мира и принял монашеские обеты, но не нашел душевного упокоения и в рясе. На его

гробнице высечено по-латыни «Половина жизни не жизнь».

Наследники первого герцога носили на груди медальон и всё искали «el Parte de Leon*» – у нас, Сандовалей это выражение имеет иной смысл, чем у всех прочих людей. И каждый Сандоваль томился пустотой бытия, и никто в конце жизни не поблагодарил свою судьбу.

Я писал мелко и сумел вместить рассказ на листок, исписав его с двух сторон. Не хватило лишь на *moralité*, но это, пожалуй, и к лучшему. Я, восьмой и, видно, последний герцог Лерма, не ищу «львиную долю», ибо искать то, чего не существует, – лишь обрекать себя на несчастье. Я намерен дожить до конца дней – уж как доведется, пускай со скукой – и, представ перед святым Марком, вернуть ему свою половинку песо. А впрочем, нет никакого Марка, нет и потусторонней жизни. Я и сам не знаю, зачем ношу этот глупый медальон.

Она идет!

* Львиную Долю (*исп.*)

Вечером

О Боже. О Боже. Мне нужно собраться с мыслями. Для этого должно записать всё по порядку.

Сначала про Веру. Еще несколько часов назад я запечатлел бы каждое сказанное меж нами слово, вдумался бы во все оттенки испытанных мною чувств, сейчас же изложу совсем коротко.

Она пришла с обеда. Сказала, что видеться в крепости нам больше нельзя. Городок совсем маленький, кто-то из гостей видел, как Вера идет по улице со мною, любопытствовал и бедняжке пришлось лгать, что это случайно встреченный московский знакомый.

Я рассказал о доме, снятом в буджакской слободе, и объяснил, что найти туда дорогу очень просто: из южных ворот всё вперед да вперед, мимо разоренного кладбища. «Если, конечно, вы не боитесь покойников», – пошутил я, а Вера очень серьезно ответила: «На этом свете я боюсь только вас и самой себя».

– Право, – продолжил я, – никому не покажется странным, если вы попросите лошадь для ближних прогулок. Вы превосходно ездите верхом,

и не сидеть же вам в ожидании мужнина возвращения безвылазно.

«И чертова Анисья за вами не увяжется», мысленно прибавил я, предвкушая счастливую развязку нашей затянувшейся любовной прелюдии.

– Не искушайте меня тем, чего не может случиться, – попросила Вера, у нее на глазах выступили слезы.

Я не стал настаивать, подумав, что пусть-ка она проведет эту ночь одна на казенной квартире, а завтра мы посмотрим.

К сему я с иезуитским коварством присовокупил, что видеться с нею в крепости более не осмелюсь, дабы мы вновь не попались кому-нибудь на глаза. Верина репутация мне слишком дорога. Я буду ждать ее у себя, не отходя от окна. Мое счастье иль несчастье в ее руках.

С этими словами я распрощался и пустился в обратный путь, находясь в нервическом, но в то же время небесприятном состоянии игрока, поставившего весь свой капитал на кон: или всё спустишь, иль озолотишься. Во всяком случае скуки я не испытывал, а это уже немало.

Когда же я проезжал через кладбище... Нет, с этого места подробно, ничего не упуская. Как

прыгает по бумаге чертов карандаш! У меня снова дрожат пальцы.

Я ехал шагом, думая о Вере. Вдруг моя Ненажора захрапела и присела на задние ноги. Ее испугало, что на обочине, верней на упавшем могильном камне, за кустом бурьяна кто-то сидит.



Я увидел девушку в синем платке, обвязанном вокруг головы, в белой украинской вышитой

рубашке и красной юбке с передником. Девушка смотрела на меня снизу вверх из-под ладони, так что лицо было в тени. Во рту дымилась турецкая трубка, из чего я предположил, что это цыганка. Женщины всех других известных мне народов табаку не курят.

Но сидящая опустила руку, и открылись несколько не цыганские черты: прозрачно-голубые глаза, чуть вздернутый, несомненно славянский нос, очень белая кожа, редко встречающаяся у блондинок – а, судя по выбивающейся из-под банданы пряди, девушка была светловолоса до серебряной белизны.

– Куда, пан, едешь? – спросила она хрипловатым и насмешливым, как мне показалось, голосом.

Не могу сказать, красавица ли она, однако же оторвать взгляд от ее лица было решительно невозможно. Я впрочем и не пытался. Если я вижу что-то, притягивающее взор, а такое со мной случается нечасто, зачем же отворачиваться?

– Ты цыганка? – всё же спросил я.

– Я – это я, – был ответ.

Пораженный, я спрыгнул наземь. Дело в том, что точно так же на этот вопрос отвечаю и я, когда меня кто-нибудь спросит, что я за птица.

– А как тебя звать?

– Смотря кто позовет, – всё с той же насмешливостью молвила она и выпустила клуб ароматного египетского табака, какой стоит в России немалых денег. Русские выращивают в Малороссии собственный табак, довольно скверный, и защищают сей продукт от соперничества высокими акцизами. – Я мало к кому пойду, зови не зови. К тебе, пан, не пойду, хоть соловьем пой.

– Ты однако ж сама меня окликнула, – напомнил я.

Она рассмеялась.

– Твоя правда. Что ж, коли я зову тебя «пан», зови меня Панночка.

По-русски она говорила чисто, что для этих мест, населенных почти сплошь украинцами, удивительно.

Я всё смотрел ей в глаза. Со мною происходило странное. Окружающий мир будто сдвинулся и превратился в подобие рамы, в которую был заключен портрет моей собеседницы, и за пределами обрамления ничего не осталось. Самое поразительное, что во всё время разговора я совсем не думал о Вере, и понял это лишь потом.

– Покуришь? – спросила Панночка, протянув мне трубку.

Сам себе удивляясь, я затянулся щекотным дымом – обычно я брезглив и мне в голову не придет делить с кем-то ложку, кружку или трубку.

В голове зашумело, спутались мысли. Табак оказался крепче сигарного.

– Так куда держишь путь, пан?

Я ответил, что живу в доме над обрывом.

– Ой, плохое место. Всякий кто там жил, сгинул, – сказала Панночка, сдвинув точеные брови – они были черны, что у блондинок редкость. – Пропадешь и ты, коли не съедешь. Заберет тебя Наречена Мерця.

– Кто?

– По-русски «Невеста Мертвеца». Она, несытая, до таких, как ты, пуще всего охоча.

– Каких «таких»? – улыбнулся я, сочтя эти слова за комплимент.

Но взгляд девушки был серьезен, даже мрачен. Она перешла на малороссийское наречье:

– Идь звидти. [Уезжай оттуда]. Заради той, хто тебе кохае. А тебе люблять – я бачу.

Я пошутил:

– А может, ты и есть Наречена Мерця? То-то я повстречал тебя на кладбище. Если так, приходи ночью, я буду ждать.

– Вин не зъиде, – сама себе сказала Панночка, и взгляд ее стал отчаянно весел, даже лих. – Что ж ты, пан, нечистой силы не боишься?

– Я боюсь только скуки.

Рубаха моей визави была расстегнута, и мой взгляд, конечно, устремился вниз. Там, в ложбинке, нашла пристанище подвеска из монет – этот вид ожерелья на Украине весьма обычен, он называется «монисто». В самом низу висело нечто, сначала показавшееся мне серебряным полумесяцем. Но нет – то была половинка монеты.

– Куда уставился, жеребче? – со смехом произнесла Панночка. – Не про тебя овес.

– У меня такая же половинка монеты. Не веришь? Смотри.

Я вынул из медальона свой песо. Девушка подняла цепочку, сравнила.

– Твоя правда!

Ее монета была стертая, однако явственно виднелась верхняя часть кастильского креста – а на

моей половинке была нижняя. Более же всего меня поразил точно такой зазубренный разрез. Или след зубов?

Я взял свою половинку, Панночка – свою, мы приложили их, и я вскрикнул, ощутив огненный ток. Вскрикнула и она. Не сговариваясь, мы оба отдернули руки – и не смогли разделить монету вновь. Она словно срослась.



– Виддай! – воскликнула Панночка и снова потянула. В тот же миг со всей силы рванул и я.

Наваждение кончилось. Каждый из нас держал в руке свою половинку. Пальцы у меня онемели, огонь из них ушел.

Задыхаясь, мы смотрели друг на друга, словно только что встретились.

– Кто ты? – спросил я ту, о существовании которой еще несколько минут назад не знал. – Почему – *ты*?

Она тряхнула головой, будто отгоняя ненужную или нежеланную думу. На мой вопрос, мне самому непонятный, она не ответила.

Я взял ее за руку. Рука была ледяная, но меня опалило точно так же, безо всякой монеты. Это мне примерещилось, что мои пальцы обожгло серебро – пламя исходило не от песа, а от девушки, я в том уверен. В тот миг я ощутил... Не знаю, как передать... Я ощутил что́ такое жизнь или верней какую она может, какою *должна быть* жизнь.

Панночка опять высвободилась, на несколько шагов отступила. В ее светлых глазах читался то ли ужас, то ли какое-то иное чувство, назвать которое я не умею.

– Неужто ты не видишь, что нам судьба быть вместе? – спросил я. Мой голос был хрипл. – Не знаю как и почему, но ты и я – половины одного целого.

Эти слова отчего-то привели ее в гнев. Теперь глаза смотрели на меня со злобой, если не с ненавистью.

– Я тебе не половина! Я сама по себе! – крикнула она. И выражение ее лица опять сменилось. На нем появилась холодная улыбка.

– Так ты хочешь быть моим коханным?

– Больше жизни!

– Что же. Жди. Я приду ночью. Но ты, я чай, там не один?

– Со мной слуга, но я его отошлю.

Я верил и не верил.

– Гляди же. Будешь не один – меня не увидишь. А теперь езжай, пока я не передумала.

Она затянулась трубкой и окуталась дымом, а я вскочил в седло. Отъехав на несколько шагов, оглянулся, чтобы увидеть ее еще раз, но Панночки не было. Она исчезла. Остались лишь могильные камни, кусты и высокие травы.

Сейчас вечер. Я отправил Максимо в порт, дав ему денег и велев до утра не возвращаться. Не

сомневаюсь, что он сыщет себе собутыльников. Моряки всех наций отлично понимают друг друга и без языка.

Я жду ее. Никогда еще я не был так наполнен жизнью.

8 октября

Попутный ветер несет шкуну по волнам, я приноровился к плавной качке и могу писать дневник. Это отвлечет меня от мыслей, которые омрачают душу. Лучше вспоминать о бывшем, чем тосковать о будущем – эта печальная истина известна всякому, кто брался за перо. Ожидающие счастья назад не оглядываются.

Через час я буду в Керчи, через два дня в Севастополе, и там без труда найду корабль до Константинополя, а то и дальше. Будь я склонен к драматизму, я бы написал, что покидаю Россию в душевном расколе и с разбитым сердцем – это в самом деле страна, которая раскалывает души и разбивает сердца, но нет, на душе пусто, а сердце леденит мою грудь, словно кусок льда, который ничем не растопишь и ничем не разобьешь.

Запишу всё, что случилось, подряд – как было. Потом, когда время присыплет всё своим пеплом, может быть, перечту. А может быть и нет.

Легкий стук раздался перед самой полночью. Я порывисто вскочил, распахнул дверь. Снаружи дул сильный ветер. Ворвался сквозняк, потушил огонь в лампе, и сделалось темно. Ночь была безлунна и беззвездна, и во всем, что происходило после, зрение не участвовало. Лишь слух и осязание...

Я притянул к себе ту, которую не видел, и мы крепко обнялись. Я жадно целовал лицо, шею, глаза. Потом потянул ее за собою в комнату.

«Сейчас зажгу свет», – сказал я. «Нет, нет, не надо», – прошептали мне в ухо.

И более до самого рассвета не было произнесено ни слова.

Что сказать о любовном слиянии? Огня, пронзившего мое существо давеча, на кладбище, я ни разу не ощутил. Удивила меня и робость той, что разговаривала и держала себя так смело при свете дня. Она не была девой, но движения поразили меня своею скованностью. Был ли я разочарован? Нет, скорее растроган, исполнен нежности. Мне

казалось бесконечно милым, что моя Панночка, дерзкая на язык, столь целомудренна в любовной ласке. Когда она положила мне голову на плечо и затихла, я сказал себе: нет, не того я ждал, но это все равно прекрасно.

Я не заметил, как уснул, а пробудился оттого, что пальцы гладили мое лицо. Услышал тихий голос, шептавший: «Мой, только мой. Oh comme je suis heureuse*...». Пораженный, я открыл глаза. Комнату наполнял розовый свет раннего утра. Надо мною склонялось лицо Веры.

– А где она?! – вскричал я.

– Кто? – спросила Вера, глядя на меня в недоумении.

– Как ты здесь? Откуда? – всё не мог опомниться я.

Приподнялся и даже оттолкнул ее, maldito tonto**. Увидел через окно привязанную к плетню лошадь и лишь теперь всё понял. Вчера я рассказал Вере, где меня найти. Ночь в одиночестве, на казенной квартире помогла любви победить добродетель...

* О, как я счастлива! (фр.)

** проклятый идиот (исп.)

– Прости, я еще не проснулся, – пробормотал я.

– Это ты прости, что я тебя разбудила, но я должна вернуться, пока меня не хватились. Закрой глаза, я оденусь.

Я зажмурился. У меня сжималось и ныло сердце. Скоро оно заледенеет.

Теплые губы коснулись моей щеки.

– Спи, mon amour. Мы скоро увидимся, – сказала Вера на пороге. – Мне без тебя отныне жизни нет.

Звук легких шагов. Удаляющийся стук копыт. Я сел на кровати и зарычал от ярости на судьбу, сыгравшую со мной столь жестокую шутку. Есть много легенд о том, как земная женщина под покровом ночи обращается в призрак, и лишь мне выпала жалкая участь ожидать призрак, а взамен получить всего лишь женщину!

Я чувствовал себя ограбленным, нищим. Меня поманило чудо – и оставило ни с чем. Я надеялся на любовь – но она теперь обесценена, отравлена. Как любить Веру, которая всего лишь обычная женщина? Но как я могу ее бросить после бывшего ночью? Мы, Сандовали, ветрены, но мы не подлецы.

Несчастнее меня не было человека на свете. Однако перед полуднем из порта вернулся Максимо, принес газету. Чтоб отвлечься, я развернул ее и увидел, что спасен.

В разделе иностранной хроники писали, что армия испанского претендента дона Карлоса наголову разбита в сражении при Арансуэке и в беспорядке отступает. Инсurreкция «карлистов» разгромлена.

Покинуть войско победителей нестыдно, но нельзя бросить тех, кто терпит поражение.

– Собирайся! Мы возвращаемся в Испанию, – сказал я моему малагуэньо, и он, не задавая вопросов, быстро, по-моряцки, уложил наш невеликий багаж.

Я явился к Вере прощаться.

Выслушав меня, она побледнела. Я смотрел на ее помертвевшее лицо, но не чувствовал ничего кроме ледяного оцепенения в груди.

Вера не пыталась меня отговорить.

– Я не вправе требовать, чтобы ради любви ты пожертвовал честью, – сказала она. – Для такого мужчины, как ты, это гибель, а я скорее погублю себя, чем тебя. Только ничего больше не говори.

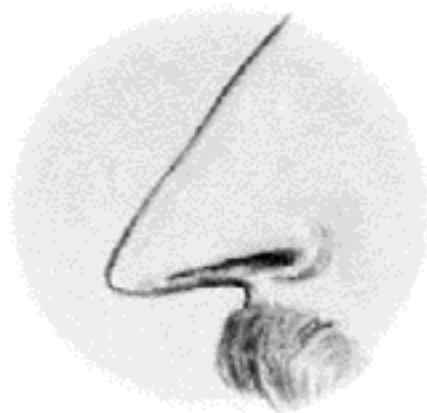
Повернись и скорее уходи, пока я не закричала. И ради Бога, ради Бога не оборачивайся. Да хранят тебя все ангелы, какие только есть на небесах.

Она закрыла глаза. Ее губы дрожали. Во всем виновато заклятье Сандовалей, подумал я. Лучше ничего не искать, чем искать то, что найти невозможно.

Поддавшись неизъяснимому порыву, я снял с себя медальон, надел цепочку Вере на шею, пошел прочь и ни разу не обернулся.

Из Керчи отправлю вместо прощального письма вырванную страничку тетради с рассказом о половинке песо. Припишу ли что-то еще?

Вряд ли. Да и зачем?



ЛОВЕЦЬ

– Повороти-ка круче к ветру, сынок. Экой ты турок! Нешто не видишь, нас того гляди захлестнет волной?

С такими словами обратился старый капитан маленькой фелюки к рулевому, изо всех сил сжимавшему кормило.

Кормщик был мо́лодец с предлинными, пре-черными усами совершенно на манер тараканьих, и дикой бородой густо-лилового цвета, каковой у торговцев суконным товаром называется баклажановым. На «турка» парень не обиделся, он и был природный турок, звался Керимом, а сходство между словом «дурак» и обозначением нации любимых сынов Магометовых не уловил, на что и рассчитывал говорящий. Этот был жидовин, на что недвусмысленно указывал изрядный нос,

а еще более того хитрый взгляд из-под длинного чуба, напудренного тем неумолимым парикмахером, который в положенный срок без зову является и к красавице, и к уроду. Капитана суденышка звали Янкелем, однако во всем кроме лица и прозвания это был отрезанный от колена Израилева сустав. Старик запросто едал свиное сало, а спьяну и отплясывал гопака по субботам, да как: ноги пойдут вывертываться, словно веретено в бабьих руках, руки подпрутся в бока, а там пойдет и присядка.

Фелюка точно почти что ложилась боком на бурливые воды, сердитые волны так и норовили накрыть ее своим сизым одеялом, а получится, перевернуть. Дул сильный ветер, вздымая острые гребешки наподобие петушиных, и если б кто-то мог посмотреть на простор сверху, из-под косматых туч, на озаренное тощим вечерним освещением море, кораблик показался бы поднебесному наблюдателю зернышком, которое вот-вот склюют раззадорившиеся петухи.

Место было бойкое, мореходное, пролив между Крымом и кавказским берегом, но буря заставила всех моряков, кому дорога жизнь, искать

пристанища в порту, и лишь одна эта фелюка бесстрашно держала курс в направлении Тамани.

На палубе кроме Янкеля и Керима были еще двое.

У борта, вольно раскинувшись на тюфяках, покуривала кривую трубку девушка, каких больше нигде на свете, пожалуй, и не сыщешь. Дело не в том, что она была хороша, мало ль под солнцем красавиц, какие ласкают взгляд, но эта не ласкала взор, а останавливала, и надолго, так что многие, кому доводилось случайно скользнуть по этому лицу глазами, всё оглядывались, а некоторые вообще застывали, будто приклеенные.

Мавка (так звали нашу героиню, а проницательный читатель уж догадался, что мы затеяли рассказ не ради старого жидовина иль, упаси боже, турка) имела прозрачные, как голубой озерный лед, глаза под бровями, словно нашитыми из немецкого бархата, длинные черные ресницы, белую-пребелую кожу, а более всего поражали длинные волосы серебряного цвета, то есть совсем седые, но не такие, как у старых старух, а шелковисто-переливчатые. Эту причуду природы Мавка обыкновенно прятала под платком, а иногда

сурьмила дочерна и тогда делалась похожа на гурию мусульманского рая. Но здесь, среди своих, девушка спустила платок на плеча и с наслаждением подставляла лилейные щеки ветру. Это была мятежная натура, которой непогода и буря лишь горячили кровь. Кериму она была любовницей, если только можно назвать любовницей ту, которая то подпускает к себе милого друга, а то гонит. Янкель называл ее «дочкой», хотя девушка была ему не родня.

Кто она и откуда, не знала и сама Мавка. В раннем детстве ее украли на Украине цыгане, залюбовавшись малюткой со сверкающими как серебро волосами, ведь кочевой народ падок на блёсткое. Она выросла в таборе, постигнув все цыганские науки до столь высокой степени, что в конце концов обворовала своих учителей. На груди у Мавки посверкивало монисто, утащенное ею у паридайи, цыганской царицы – та ценила сию реликвию дороже конского табуна и, сказывают, умерла от горя, а только девочка (ей тогда шел одиннадцатый год) была уж далеко.

Янкель встретил ее тому лет восемь на базаре в Яссах, где Мавка показывала честному народу

ученого волка. Волк ходил на задних лапах, выл песни на манер волынки, люди разевали рты, а бойкая девчонка шныряла меж зеваками да шарила по карманам и кисетам. Приметив такой замечательный талант, Янкель позвал Мавку с собой, и с тех пор они были неразлучны. Немало всякой всячины намотала на ус (иль уместней будет сказать на локон) наша героиня с сим искусным педагогом.



Однако мы сказали, что в ладье плыли четверо. Четвертый был не человек, а тот самый волк по имени Аспид, Мавкин питомец. Она подобрала его осиротевшим волчонком в лесу, голодным, слабым и жалким. Ныне это был здоровенный волчина, матерый как тот миргородский будочник – нелегкая его возьми, и имени не вспомню... Козолупо не Козолупо, Будяга не Будяга, солидное такое прозвище, подходящее для стража порядка, ну пускай будет Пузодупченко... И вот возьми этот Пузодупченко... нет, Товстопуцек, припомнил! да замахнись своею алебардой на Аспида, прикидывавшегося овечьей собакой, так волк немедленно скинул овчарочью шкуру и перекусил претолстое древко казенного оружия своими огромными клыками, будто хворостинку. Это ладно, на свете сколько угодно волков с острыми зубами, но штуки, которым научила Аспида хозяйка, составили ему славу «перевертня», то есть оборотня, внушавшую страх даже самым отчаянным головам, а среди Янкелевых знакомцев таковых было немало.

Пришло время рассказать, что отчаянная фелюка не просто так плыла к кавказскому берегу в погоду, когда честные моряки сидят по кабакам

и с покойной совестью пьют горилку. Янкель был главарь шайки «кача́ков», как называют на Черном море контрабандистов, и вез из турецкой Добруджи в российские пределы груз превосходного восточного табаку, который потом горные абреки развозили по мирным и немирным селеньям, а бывало, что и доставляли в города.

– Вон и Ак-Сол, – показал жидовин на утес с белою верхушкой, проступивший сквозь вечернюю мглу. – Поворачивай к бухте. Алтынчи ждет нас и верно уж зажег огонь.

Плывущие говорили между собой на смеси украинского, молдавского и турецкого языков, но из милосердия к читателю воспроизводить эту тарбарщину мы не станем. Кроме самих качаков никто этого жаргона, в котором попадают и во все черт знает какие слова, не понимает. Слово «алтынчи» или «алтынщик», к примеру, обозначает почтеннейшую должность хранителя воровской иль разбойничьей казны.

Судно направило свой острый нос к горлу небольшой бухты, едва различимому в быстро темнеющем воздухе. Огня на берегу не было.

– Спит он что ли, шайтан, – проворчал Керим, тщетно вглядываясь в серую тьму. – Не вышло бы беды. Тут возьмешь чуть правей иль чуть левей, напорешься на камни.

– Вставай посередке, – велел Янкель, хмурясь. – Не бывало такого, чтоб он нас не встретил. Что-то случилось.

На глубоком месте, саженьях в тридцати от берега, они бросили якорь. Главарь спустился в маленький ялик, привязанный иль, как говорят моряки, пришвартованный к корме фелюки.

– Ждите тут, – велел капитан. – Узнаю, что с Чаклуном.

Таково было прозвище алтынщика, проживавшего среди местных жителей под видом мирного обывателя. Все сделки с горными разбойниками шли через Чаклуна: он передавал товар и принимал деньги.

Лазутчик ушел, когда еще вечерело, а вернулся поздней ночью, и был он мрачнее тучи.

– Так и есть. Беда. В слободе говорят, пропал Чаклун. И не просто пропал, а сгинул. И крестятся! Третьего дня принесла ему баба молока, а в хате никого. На столе недопитая горилка с недоеденной

закусой, окно выбито, а сам Чаклун как сквозь землю провалился. Говорят, с дымом улетел к своему хозяину Сатане.

– Почему с дымом? – спросил Керим. Что у Чаклуна хозяин Сатана турка не удивило. Алтынщик был человек непростой, в шайке его почитали чародеем. «Чаклун» и означает «колдун».

– Сказали, на скале, над обрывом, нашли свежее кострище, а рядом с ним Чаклунову одежду. От углей пахло паленым мясом.

– Ай, шайтан! – пробормотал Керим, коснувшись рукой лба и сердца, чтоб отогнать Нечистого. Мавка была умней.

– Его схватили психадзе и пытали огнем, чтоб выдал казну, – быстро молвила она. – Ты ведь тоже так думаешь, Янкель?

«Психадзе» были разбойные горцы, с которыми шайка вела свой незаконный промысел. Это по-черкесски означает «водяные псы», поскольку сии изгои обыкновенно прячутся в плавнях, где их сыскать совершенно невозможно.

– Утащили на скалу, чтоб никто не слышал криков, а потом скинули в воду, – кивнул Янкель. В голосе его не было сострадания к ужасной участи

товарища, одна только угрюмая озабоченность. – Я желал бы знать одно...

– Выдал он казну или нет, – быстро закончила Мавка, и старик зацокал языком, в который раз поражаясь сметке своей воспитанницы.

Хотя время, в продолжение которого жидовин издавал сии одобрительные звуки, несколько коротковато, вставим здесь необходимое разъяснение.

У алтынщика в хате был тайник, где хранилась пожива за последние доставки: три большие кожаные касы с золотою монетой. Хитроумный Янкель копил деньги, чтобы обосноваться в Ставрополе и вести оттуда торг самому, обходясь без посредников-психадзе, к чьим хищным рукам прилипала львиная доля прибытка. То ли разбойники прознали про эту разорительную для них затею, то ли просто откуда-то сведения, что у Чаклуна скопилось золото. Народец этот, известно, о завтрашнем дне не печется. Они зарежут и курицу, несущую золотые яйца, коли им захочется бульону, который по ихнему называется «лэпсы».

– Отчего ж ты не заглянул в хату, старый? – спросила Мавка. – Ведь ты знаешь, где тайник.

– В доме остановился приезжий барин, с ним слуга, – ответил Янкель. – Я походил вокруг, да внутрь не попасть. А когда они съедут, бог весть. Ой, пропали наши деньги, три раза по пятьсот червонцев! Ой, разорение! Ой, гевальт!

И начался спор. Мнения качаков по важному предмету – выдал алтынщик казну или нет – разделились. Керим горячо говорил, что Чаклун настоящий *чакматаш*, кремьень, и сдохнет, но врагу не поддастся; мизантропический иудей сомневался, верно, представляя, как сам повел бы себя на раскаленных углях; Мавка соглашалась то с одним, то с другим, то возражала разом обоим; Аспид, встревоженный криками, уныло подвывал, то есть скорее склонялся к пессимистичному предположению Янкеля.

Конец перебранке положила женщина, явившая больше разумности, чем мужчины. Такова уж была эта красавица, ум которой в своей ледяной холодности соперничал с сердцем.

– Схожу в хату нынче же, проверю, – сказала Мавка.

– Да как же? Там ведь чужие? – спросили ее.

– Это мое дело.

Да и спрыгнула в ялик. За ней туда же скакнул и волк. У Аспида был обычай: куда хозяйка, туда и он.

* * *

Нетиха и непокойна кавказская ночь, даже когда в небе звезды и изливает сметанный свет полная луна. Воздух в сих местах пропитан угрозой и источает запах опасности. То ли в зарослях крадется мягколапый барс, то ли стерегут запоздалого путника спустившиеся с гор абреки, которые оберут до нитки, да уволокут с собой в неволю либо перережут горло. Тут не слушай соловьев, а держи ухо остро. Ну а в такую ночь, как эта, когда дует злой ветер, сотрясая деревья и срывая с них листву, когда земля стонет, словно пробудившийся мертвец, и сквозь чугунные тучи не пробивается ни единой полоски света, только безрассудный или бесстрашный человек станет бродить по кустарникам да пустошам, и уж особенно подле старого, перерытого кладбища, а путь Мавки и ее серого соратника пролегал мимо брошенного татарского погоста. Там не виднелось ни одного креста,

сплошь камни с арабской канителью, да и те повалены, а могилы разрыты, и повсюду в траве белеют потревоженные кости. Тех, кто чтит здешних покойников, давно уж не было, а пришлые насельники, черноморские казаки, искали в басурманских гробах золото-серебро, да так кладбище разоренным и оставили.

Дом алтынщика Мавке был известен, она бывала здесь не раз.

– *Отурма́к!* Сиди! – указала девушка волку место у калитки. С Аспидом и Керимом она всегда говорила по-турецки, считая, что это наречие лучше всего подходит для существ свирепых, с Янкелем – на лукавом еврейском языке, с медлительными молдаванами на валашском, с бойкими малороссами по-украински, с хмурыми кацапами по-русски, и все принимали ее за свою, такая уж это была особа. Даже Янкель был уверен, что цыгане выкрали ее не из села, а из штетля и что она потомка библейских Сарры и Рахили.

Волк послушно сел, а Мавка вошла во двор. Прежде всего ей надо было убедиться, что старик не ошибся и чужаков только двое. Зрение и слух

у девушки были отменные, но сейчас помочь они не могли. Тьма была хоть выколи глаза – черней не станет, а в небе грохотало и лязгало, как на кузне при большой дороге. Близилась гроза.

Мавка положилась на свой нюх, который остротой мог посоперничать с Аспидовым. Она втянула точеными ноздрями воздух. Почуяла аромат мясной похлебки с перцем – видно, ее варили в хате на ужин, а еще определила, что в доме точно двое – один курил дешевый матросский табак, второй дорогую сигару.

Девушка подкралась к приоткрытому окну. Второе – видно то самое, разбитое, когда психадзе лезли внутрь, – было затворено ставней.

На ту пору очень кстати вспыхнула первая предгрозовая зарница, осветившая единственную комнату, и сделалось видно, что на кровати там лежит некто светловолосый, накрывшись длинной буркой, а в углу на охапке травы похрапывает еще один, подложив вместо подушки под голову локоть.

Но Мавку занимали не постояльцы, их она заметила краем глаза. Взор девушки был устремлен на пол мазанки, для сельского жилища необычный. В поселянских хатах как? Хозяева кто победней да попроще утопчут землю, да и живут себе, терпя доuku от блох с клопами, знай себе почесываются и укусы малых земных обитателей за обиду не считают; староста, прасол иль мельник, пожалуй, настелет доски и будет гордиться сим признаком достатка; паркетов же не заводят у себя даже и помещики, владеющие сотней душ – оно накладно, да и зачем? Чаклун же, то ли улетевший с дымом к Черту, то ли потопленный в море злодеями (даже и не знаем, какая участь хуже), был такой сибарит, что обзавелся в своем непышном жилище именно что подобием паркета – конечно, не мелкоплетенного, узорного, какие бывают в графских хоромах, а грубого, состоявшего из квадратных аршинных плашек, но и то было для обычной беленой хаты в диковину.

Кабы дикие психадзе, искавшие клад, были посмышленей, они догадали бы, что такое роскошество устроено неспроста, да что взять с

дикарей, обитающих среди камышей и лягушек? Под одной из деревянных плит таился лаз в подпол, где алтынщик прятал тюки с незаконным товаром, а продав его, складывал золото.

Увидев, что пол цел, Мавка тронула свое заветное монисто, как богобоязненный христианин в благодарение Господу коснулся бы божьего креста.

Однако не такова была наша героиня, чтобы удовольствоваться одним лишь предположением. Ей захотелось убедиться, вправду ли казна цела.

Без малейшего страха, ловкая и гибкая, словно ящерица, Мавка проскользнула через окно, не скрипнув рамой, бесшумно вышла на середину комнаты и подождала следующей вспышки небесного света. Когда же горница снова озарилась, девушка присела на корточки, поддела край плашки, сдвинула ее в сторону и увидела черный лаз. Мавка распрямилась, чтобы поплотнее обмотать вокруг чресел юбку – в узкую дыру иначе было не втиснуться. Но тут, теперь уже некстати, зарница полыхнула вновь, и за спиной у девушки раздался тихий возглас на языке, который Мавке, владевшей

всеми причерноморскими наречиями, включая даже гагаузское, был неизвестен. Должно быть, вынимаемая из пазов дощечка скрипнула, и спавший на постели человек пробудился.

Бежать Мавка и не подумала, страх ей был отроду неведом. Едва свет померк, девушка прыгнула в тайник, рассудив, что спящий примет виденное за ночную блажь. Рокот грома заглушил звук паденья.

Наверху еще раз сверкнула молния.

Послышалось полусонное бормотанье, скрипнула кровать и стало тихо. Расчет оказался верен. Лежащий в самом деле подумал, что ему примерещилось, да повернулся на другой бок. Видно, он был не впечатлителен и ночных видений не боялся.

Успокоившись, Мавка стала шарить вокруг и скоро нащупала, одну за другой, три кожаных сумы. В каждой лежали гладкие кругляши – полновесные червонцы. Вынести их отсюда было нельзя, золото зазвенело бы и пробудило чуткий сон человека на кровати, потому девушка оставила всё как есть. Она поднялась из подпола, тихонько

закрыла лаз крышкой и минуту спустя уже была снаружи, тихим свистом подзывая волка.



Обрадованный возвращением хозяйки, Аспид лизнул ей руку, а Мавка потрепала своего серого клеврета по щетинистому загривку.

* * *

Днем качаков, спавших после бессонной ночи на своем колеблемом волнами суденышке, разбудил крик.

– Э-гей, на фелюке! – звал с берега мужской голос. – Есть для вас работа! Заплачу хорошие деньги! Эй, где вы там?

Янкель первый осторожно выглянул поверх борта, за ним остальные.

У самого прибоя стоял высокий человек в охотничьей куртке, махал мерлушковым картузом. Ветер шевелил светлые волосы.

Не дождавшись ответа, незнакомец снял с плеча ружье, пальнул в воздух. Эхо отпрыгнуло от скал, обрамлявших бухту, заскакало по водной ряби.

Керим взял свой длинноствольный штуцер венгерской работы, приложился к прикладу. Янкель схватил горячего турка за плечо.

– Годи! Пошумит да уйдет.

Мавка, пригнувшись, подступила к штурвалу, взяла там подзорную трубку, поймала в окуляр фигуру стрелявшего, покрутила ободок. Мутное пятно в стеклянном кружке, как по волшебству, обрело резкость, превратилось в лицо. Худощавое, даже

суховатое, оно казалось вытесанным из мрамора – столь ясны и строги были все его линии, при том что человек был молод. Высокий лоб хмурился, тонкие губы кривились досадой.

«Пригожий пан, – подумала Мавка. – Чего ему от нас нужно?».

Однако в Янкеле любопытства было меньше, чем осторожности. Он велел не отвечать, и скоро чужой человек, махнув рукой, сел на коня да уехал.

Погадав между собою о том, кто бы это мог быть и по какой надобе, качаки позавтракали сушеной таранью и занялись всяк своим делом – о том у них было сговорено заранее, еще ночью.

Янкель отправился в Тамань, чтобы поискать покупателей табаку вместо нашкодивших горцев – у жидовина имелись в городке знакомцы, такие же пройдохи, как и он; Аспид остался стеречь вытащенную на песок лодку; Мавка с Керимом залегли в кустах подле алтынщиковой хаты – ждать, когда отлучатся постояльцы и можно будет забрать казну.

На крыльце сидел, покуривал трубку дядька в красном платке, повязанном поверх черных

с проседью кудрей, в ухе у него блестела серьга. По всей повадке, а более всего по лихости, с коею курильщик сплевывал желтую слюну, угадывался старый моряк. Иногда он затевал песню на непонятном языке, часто повторяя в припеве «каррамба, каррамба», и, как видно, никуда не спешил. Он просидел в той же позе час, потом другой, зашел в хату, погромел там горшками.

– Этот никуда не уйдет, – шепнул товарке Керим. – Давай я его прирежу, мы заберем золото и уйдем.

– А куда мы потом денемся, *аптал*? – отвечала Мавка («аптал» по-турецки – дурак). – В такую непогоду фелюка из бухты не выйдет. Вернется барин, увидит мертвеца, кликнет слободских, и нас в два счета сыщут. А еще я тебе то скажу, что этого чужака запросто не возьмешь – у него за поясом нож, какого *будала* (простак) носить не станет. Как бы тебя самого не зарезали.

Керим было заспорил, но девушка без церемоний шлепнула его по губам, и головорез умолк. Он был грозен со всеми, но не с Мавкой.

Однако ж турку сделалось страх как скучно сидеть без дела.

– Расскажи что-нибудь, как ты умеешь, – попросил он. – А еще лучше, отойдем подальше в кусты и полюбимся друг с дружкой. Давно ты меня не баловала.

Да так пристал: либо расскажи, либо полюби, что Мавка, не желавшая покидать своего поста, в конце концов смилостивилась.

– Ладно, ладно, не канючь. Про что тебе рассказать?

– Про что хочешь. Я люблю тебя слушать. Хоть про это твое монисто. Ты давно обещаешься поведать, чем он тебе дорого.

– Что с тобой делать, – вздохнула Мавка, которой и самой надоело сидеть в кустах без дела. – Слушай же.

Она потянула ожерелье за цепочку.

– Видишь – тут семь монет? Они не простые, а заговоренные.

– От чего же заговор? – пугливо спросил Керим, не боявшийся никаких опасностей, но страшившийся всякого колдовства.

– От семи смертных грехов. Каждая деньга оборачивает грех с орла на решку.

– Как это?

– Из убытка в прибыль. Вот русский рубль. Он превращает гордыню в гордость. Польский злотый бережет от жадности. Ничего земного с таким обещанием не жалко, всё полынь-трава. Венецкий цехин не дает голове яриться от гнева, и моя всегда холодна.

– А гульден от чего? – спросил турок, тронув монету, висевшую с другой стороны.

– Не *от* чего, а *для* чего. Для того чтоб блуд был не срамом, а праздником. И я люблю кого хочу, когда хочу и как хочу. Даже тебя. Хоть ты и *аптал апталом*, а всё же хват.

Ради «хвата» турок не обиделся и на «аптала». К тому ж ему хотелось узнать про остальные монеты.

– А пиастр?

– Этот переворачивает чревоугодие наизнанку, так что ешь не объедаясь и пьешь не обпиваясь. Ты знаешь, что я горилку пью не хуже мужчин, а видывал ты меня пьяной? То-то. Третья монета на левой стороне, немецкий дукат, не пускает в душу зависть. Я никогда никому не завидую, хоть королеве.

– Почему эта не целая, а с изъяном? – спросил Керим про монету, висевшую в середине, на самом почетном месте. Она была похожа на ущербный месяц, как если бы кто-то откусил от серебряной луны половину острыми зубами.

– То самый главный из амулетов, испанский песо. – Мавка любовно погладила пол-монеты. – Цыгане сказывали, что он не дает впасть в самый худший грех.

– Какой? – спросил Керим, подумав про все грехи, коими расцвечивал свою разбойничью жизнь, и ни одного не выбрав.

– Грех уныния. Так в церкви проповедуют, неуч, – укорила его собеседница.

– Я мусульманин, – пожал плечами турок. – У нас учат, что нет ничего хуже чем оскорбить Аллаха. А впрочем я не помню, когда был в мечети.

– Нет, – убежденно молвила Мавка. – Самое худшее в этой жизни – уныние. Оно отравляет всё. Знаешь, что рёк Иоанн Златоуст про уныние?

– Кто это – Иван Алтын-Агыз? – спросил нехристь.

– Пророк навроде Магомета.

Турок уважительно склонил голову.

– «Уныние подобно смертоносному червю». Если человек богат и здоров, сыром в масле катается, но в сердце своем бесщастен, то всяк мед ему горек, а любая радость не в радость. Человек и не живет вовсе, а ходит по кругу, как осел, что вертит мельничный жернов. Все прочие амулеты без этого мало что стоят.

– Так вот почему я никогда не видал тебя в унынии, – сказал Керим, глядя на серебряную половинку с благоговеньем.

– А счастливой ты меня разве видал? – вздохнула девушка. – То-то. Всего мне вечно недостаточно, ничто не наполняет мне душу до краев. Это потому что на цепочке лишь половина монеты.

– Где ж вторая половина?

– Ее откусил Дьявол. Видишь следы его кривых зубов? И покуда монета не сыщет своей пропавшей половины, будешь жить серединка на половинку – так верят цыгане. Потому табор и бродил с места на место по всему свету, искал счастье. Куда монета позовет цыганскую мать-паридайю, туда она своих и вела. А ныне за монетой иду я. И буду идти, покуда жива, авось найду где-нибудь мое счастье.

– А я часто бываю счастлив, – похвастал Керим. – Поем от пуза, выпью ракии, и мне хорошо. Если же ты, *джаным*, меня приголубишь, я и вовсе буду в раю.

Он протянул к чаровнице руки, но получил крепкую плюху по макушке и горестно шмыгнул носом. Познала грех уныния и эта бесхитростная душа.

Еще с час они провели в молчании, а потом, когда свет дня уже мерк, в хату вернулся второй постоялец.

– Так вот кто это был такой, – шепнул Керим.

Во двор на каурой лошади въехал тот самый пан, что давеча на якорной стоянке разбудил контрабандистов криком.

Слуга в красном платке принял повод, отвел коня в сарай, а пан, которого Мавка сочла пригожим, разделся по пояс, облился водой под ручкой и своей крепкой, стройной статью явил, что он хорош не только лицом, но и телом.

Скоро единственное зрячее окно дома озарилось мягким светом масляной лампы. Через окно было видно, что пан с аппетитом ест из миски, од-

новременно читая книжку, и видно веселую. Ужинающий улыбался, а по временам и смеялся, обнажая сахарно-белые зубы.

– Лягут спать – вышибу дверь и зарежу обоих, не успеют глаз разлепить, – сказал наскучивший ожиданием турок. – А после оттащу на кладбище, да зарю. Люди подумают, что этих из проклятого дома тоже черт утащил, как Чаклуна.

Мысль была ловкая, для немудрого Керима даже блестящая, но Мавке не захотелось убивать веселого барина. К тому же ей вспало на ум кое-что получше.

– Хорошо, что ты вспомнил про кладбище, – сказала девушка. – Я сделаю так, что они сами уйдут, да не вернутся. Оставайся здесь.

Она отправилась на разоренный погост, что находился в полуверсте от места. Ночь опять сулилась быть бурной. Грозой в воздухе, правда, пока не пахло, но ветер шелестел травой и трещал ветвями кустарников, а на краю неба то и дело поблескивали зарницы, с каждым разом ближе и ближе. На сем природном освещении и основывался Мавкин расчет.

Дойдя до границы кладбища, она дальше не пошла, чтобы во тьме не свалиться в разрытую яму, а подождала, пока мрак снова озарится, и двинулась к белеющей куче мертвых костей. При второй зарнице подобрала череп, при третьей – бестрепетно оторвала от скелета костлявую руку и, совершенно удовлетворенная зловещими трофеями, пустилась в обратный путь.

* * *

Замысел Мавки был прост. Про хату Чаклуна и так шла дурная слава. Постояльцы не могли не слышать от слобожан про таинственную пропажу колдуна. Если ночью в окно заглянет скелет, любой храбрец впадет в ужас да побежит сломя голову из такого клятого места, боясь оборотиться. Тогда можно спокойно спуститься в подпол и забрать золото.

Однако нынче в хате почивали крепко. Мавка уж и царапала мертвою рукой по стеклу, и стучала в него костяным лбом черепа, а спавшие всё не пробуждались.

В сполохах зарниц было видно, что слуга мирно посапывает на полу, а его барин столь же

беспечально возлежит на кровати, и всё им нипочем.

Девушка стала скрести сильнее. Тут небесный свет вспыхнул сызнова, да не сразу погас, а несколько мгновений трепетал, гоняя по стенам горницы летучие тени. Спящий наконец очнулся, повернул голову к окну, приподнялся.

То-то, подумала Мавка, подглядывавшая из-за рамы. Сейчас как вскинется, как закричит, да разбудит второго, и начнется потеха.

Но пробудившийся не закричал, а воззрился на страшное видение со странным выражением, в котором читался не страх, но живой интерес. В белом дрожании небесного огня точеное лицо диковинного пана показалось Мавке уже не просто пригожим, а колдовски прекрасным, как у зачарованного царевича Крижана из сказки, которую рассказывала когда-то паридайя. Жил-де некогда царевич, которому ведьма заледенила сердце, и всякая девица, влюблявшаяся в несказанную холодную красоту Крижана, превращалась в сосулю. Обитал царевич во дворце, украшенном не мраморными статуями, а ледяными девами.



Свет погас. Мавка поскребла еще – пусть тугодум спознает, что призрак ему не приснился. Однако кровать скрипнула, пан снова опустился на подушку, да повернулся на другой бок. Минут через пять, при следующем сполохе, стало видно, что бесчувственный постоялец опять уснул.

Осердясь, Мавка зашвырнула бесполезные кости в кусты и вернулась за плетень к своему

товарищу. Однако товарищей теперь было двое. С берега прибежал волк. Сам бы он свой пост ни за что не покинул, но, видно, вернулся Янкель. Освобожденный из караула, Аспид кинулся искать хозяйку и своим звериным нюхом без труда взял след.

– Молодец, – сказала Мавка зверю, радостно положившему ей лапы на плеча. – Ты-то мне и нужен.

Пошептала что-то серому на ухо, и Кериму показалось, что волк кивнул. Может, суеверному басурманину оно и привиделось, однако ж Аспид повел себя словно солдат, выполняющий приказ командира.

Хищник перепрыгнул через плетень, пробежал двором и стал, рыча, бить своими когтистыми лапами в дверь сарая, где стояла лошадь. Та почуяла волка и захрапела, заржала, заметалась, забила копытами о дощатые стены.

Тихим свистом Мавка отозвала своего прихвостня (поскольку Аспид был при хвосте, такое прозвание ему подходило как нельзя лучше), взяла за ошейник и быстро повела прочь, кинув турку:

– Идем! Теперь уж они проснутся.

А серому велела:

– Вой!

Тот задрал башку и издал звук, лишенный всякой музыкальности, но такой громкий, что Керим заткнул уши.

– Если один такой смелый, что не побоялся скелета, а другой спит, будто косолапый медведь зимой, теперь они уж пробудятся и выйдут к лошади. Снимай свой штуцер, *джесур* (удалец). Застрелишь обоих. Ты ведь бьешь без промаху.

Но заткнувший уши турок не услышал кровавого приказа, и Мавка, нетерпеливо стукнув его острым кулачком в каменную скулу, повторила.

– Я-то бью без промаху, но второй услышит, что я убил первого, и засядет в хате. Как его потом добывать? – возразил Керим. Он был простак во всем кроме своего душегубства, но в нем уж считал себя докой. – Давай я их лучше зарежу, так оно выйдет складней. И давно надо было, сколько времени потратили зря!

Однако его напарница в такого рода делах была не глупей.

– В темноте резать двоих крепких мужчин трудно, – ответила девушка с уверенностью, свидетельствовавшей о хорошем знании предмета. – Застрелить надежней. Второго выстрел не напускает. Вишь, как вокруг грохочет?

И то – зарницам наскучило посуху иллюминировать небо. Опять, как минувшей ночью, с гор наползала гроза, и раскаты грома делались всё оглушительней.

– Вон он! Хватит болтать, делай дело! – шикнула Мавка на товарища, показав на осветившийся двор.

Из дома вышел молодой барин, держа в руке ружье – видно, собрался отогнать волков. Он был в белой рубахе, различимой даже во тьме. Кериму, который на спор сбивал пулей летящего воробья, попасть в такую мишень был сущий пустяк.

Турок отошел в сторонку, где из земли торчал большой валун, пристроил дуло сверху и стал целиться.

– Что ты медлишь? – сердитым шепотом спросила Мавка. Ей вдруг стало жаль царевича Крижана, и она сама на себя разозлилась за непрощенное мягкосердечие.

– Не учи ученого, – хладнокровно отвечал Керим. – Пусть ударит молния, тогда я выстрелю не в рубаху, а в лоб, чтоб наповал. Рухнет без крика. Потом пусть Аспид повоет еще, чтоб пробудился второй.

Долго ждать не пришлось. Мгновение спустя ночь осветилась, и турок тут же выпалил. Звук выстрела слился с громом.

Мавка не поверила своим глазам. Человек в белой рубахе остался на месте. В неверном сиянии молнии расстояния искажаются. Меткий стрелок промахнулся!

Барин смотрел прямо на Мавку и волка, стоявших на пригорке и, должно быть, хорошо видных в мерцании небесного огня. Движением, по быстроте не уступающим молнии, везучий пан вскинул свое ружье. В следующий миг во вновь воцарившейся тьме блеснул язычок пламени, и раздался выстрел, будто эхо еще не утихшего грозового раската.

Тихий стон донесся от камня, за которым засел турок.

Мавка кинулась туда, волк – за хозяйкой.

Сверканье следующего разряда открыло ужасную картину. Керим лежал на земле, испуская последний вздох. Прямо посередке лба у него чернела дырка. «Кисмет», – прошептал несчастный и перестал двигаться. Он был мертв.

Кисмет, а по-нашему рок, распорядился так, что искуснейший стрелец метился, да промазал, а случайный, навскидку выстрел сыскал свою цель.

На что Мавка была чужда страха, а содрогнулась и нащупала на своем ожерелье половинку серебряного песо, ответственную за счастье и несчастье.

Она посмотрела во двор, но пана, не знавшего, что его пуля вылетела не впустую, там уже не было. Он вошел в сарай успокаивать перепуганную лошадь.

Что же наша Мавка?

В оцепенении она пробыла недолго. Явив недевичью силу, приподняла бездыханное тело, перевалила через спину волка, штуцер вздела чрез плечо, и скорбная процессия отправилась в обратный путь, к морю.

Час спустя свершился погребальный обряд. У качаков он прост. Янкель привязал к наряженному в самый лучший кафтан мертвецу камень, да спихнул с лодки в море, сказавши вместо напутствия: «Хорошая смерть, быстрая. Дай бог всякому». Аспид печально повыл. Мавка же вынула из уха золотую сережку, кинула в воду. Серьги ей подарил Керим, и вторую она оставила до тех пор, пока не отомстит – этот обычай она переняла у цыганок.

– Брось, – сказал жидовин, понявший смысл сего ритуала. – Нам бы казну вернуть, и уплывем отсюда навсегда. Скверное место. Поищем сбытчиков в Ростове, я там знаю дельных людей.

– И отомщу, и казну верну, – молвила девушка сквозь стиснутые зубы. – Я зря не обещаю, ты меня знаешь.

* * *

Ничто того не предвещало, но, пробудившись пополудни, Мавка увидела, что после ночной грозы мир волшебным образом переменился. Тучи умчались прочь, ветер почти стих, в небе сияло безмятежное светило, пели скворцы и жаворонки. День блистал и блаженно жмурился, голубой неизмеримый

океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул в неге.

Но на душе у девушки гроза все еще бушевала, чувства были мрачны, а помыслы черны. Не дотронувшись до завтрака, приготовленного заботливым Янкелем, она сунула под свой вышитый фартук острый турецкий *бычак*, спустилась в челн и вскоре уже заняла место, обдуманное накануне – села на проклятом кладбище, среди бурьянов, на треснутое татарское надгробье. Мимо пролегла единственная дорога, связывавшая прибрежную слободу с внешним миром. Куда бы ни отправился на своей каурой лошади убийца Керима, он не мог миновать сего пункта.

Покойный пейзаж, озаряемый жарким солнцем и озвучаемый стрекотанием цикад, не умирил Мавкиного сердца. Она курила трубку, вспоминала бедного Керима, которого все же любила, насколько была способна любить ее непробужденная душа. Отмстить тому, кто лишил жизни коханого, казалось девушке самым справедливым делом на свете. Мир, который ее взрастил, был прост, и всё в нем было просто. Там до конца стояли за своих и ни во что не ставили чужих; там на

добро отвечали благодарностью, а на удар ударом. Одно только смущало для Мавки эту ясную и несомненную картину. Она вспоминала лицо пригожего пана, и чуяла, что убить его будет трудно. Рука, сжимавшая рукоять кривого ножа, будто налилась свинцом. Отчего так, девушка не понимала сама, то-то ее и бредило.

Долго ль она так просидела, не знала и сама Мавка. Солнце медленно совершало свой обычный путь по небу, по дороге несколько раз проехали телеги, но девушка пригибалась, и никто ее не заметил.

Вдруг ее голубые глаза сверкнули и сузились. Со стороны Тамани приближался всадник, которого Мавка сразу узнала по каурому коню. Она села на видное место, поправила красную юбку и синий платок, а бычак стиснула покрепче. Что конный, завидев ее, остановится и вступит в разговор, красавица не сомневалась. Она знала свою власть над мужчинами. Не бывало еще, чтоб хоть единый Адамов сын, если в нем есть капля мужского, проехал мимо такой красавицы, не попытавшись завязать с ней разговор.

Верховой приближался. Он ехал, опустив голову, погруженный в думы, и видно думы были приятны – на устах играла улыбка. «Убил, а улыбается, – подумала Мавка. – Погоди же! Последнее, что ты услышишь, издыхая, – мой смех».

Сидящую на могильном камне девушку обреченный не замечал, и она уж хотела сама его окликнуть, но тут вскинулась каурая, внезапно увидев чужого. Как видно, лошадь еще не успокоилась после ночных страхов.

Пан оборотился на Мавку, и воздействие ее красоты было всегдашнее – он уже не мог оторвать взгляда.

– Куда, пан, едешь? – спросила она. Надо было, чтоб он спешился и подошел близко.

При свете яркого дня, вблизи, Керимов убийца оказался до того хорош, что и Мавке отводить взор от чеканного лица не хотелось. Волосы у него были светлые, глаза синие, в углах губ две насмешливые морщинки.

– Ты цыганка?

Давеча со своим слугой барин говорил на непонятном языке, и Мавка решила, что он чужестранец, но спрошено было на чистом русском.

– Я – это я, – отвечала она, уже зная, что рыба на крючке и не сорвется.

И верно. Он спрыгнул на землю и встал прямо перед нею. Меж ними оставалось два шага – лишь они отделяли пана от гибели.

Жаль стало Мавке обрывать эту молодую жизнь. Виноват ли царевич Крижан, что оказался помехой для качаков, да и Керима он застрелил без умысла, шальнойю пулей. А всё же кровь товарища требовала отмщения, иначе не видать на том свете покоя бедной Керимовой душе, и без того пропащей.

Прикидывая, как бы подманить пана еще ближе, Мавка вела с ним пустой разговор.

«Как тебя зовут?» – спросил пан. «Смотря кто позовет», – бездумно молвила она. Он говорил что-то еще, и она отвечала, даже смеялась, но слова сходили будто сами собой. Сердце билось так часто, что мысли путались, а по коже бегали ознобные мурашки.

Наконец Мавка придумала.

– Покуришь? – спросила она, протягивая свою трубку, еще хранившую тепло ее губ. Какой мужчина откажется? Это ведь почти как поцелуй.

Не отказался и пан.

Он сделал-таки два роковые шага, по-прежнему глядя собеседнице в глаза. Мавка незаметно вынула руку с ножом из-под заказки (как именуется украинский нарядный передник), спрятала за спину. На крепкой шее пана, открывавшейся в расстегнутом вороте, билась жилка. В нее и должен был вонзиться острый, как бритва, клинок. Не раз и не два Мавка справлялась со своими обидчиками этим верным ударом. Но сейчас – поразительное дело – никак не могла решиться, словно бы ее кто-то заколдовал. Она убрала за спину освободившуюся от трубки и другую руку – не окажется ли крепче. Но нет, онемела и та.

У людей добропорядочных, богобоязненных много правил, которые они соблюдают в своей жизни. У цыганской воспитанницы было только одно: не делать того, чего не хочется, это она и почитала истинной свободой. Убивать красивого пана Мавке вдруг расхотелось – и этого было довольно, чтоб она перестала печься о Керимовой душе. «Благодари свою мать, что родила тебя таким баским, – подумала девушка. – Вон у тебя под левым глазом тень. Значит, любит тебя какая-то

баба или девка большою любовью, что ж я стану ее бездолить?». (Гаданью по теням на лице Мавка научилась в таборе, и никогда оно ее не обманывало). «Кину ему конец, – порешила она. – Ухватится – его счастье, а нет – сам виноват».

Она спросила: куда-де держишь путь, а когда пан, не подозревающий, что его жизнь висит на волоске, ответил, изобразила испуг.

– Ой, плохое место! Всякий кто там жил, сгинул.

И рассказала небывальщину, которую только сейчас сочинила. Живет-де на этом проклятом кладбище Мертвецова Невеста, которая по ночам бродит вокруг в сопровождении Неживого Волка, ищет своего суженого, и всякого пригожего парубка забирает с собой. Повидав ночью сначала скелет, а потом деву с волком, барин должен был в сказку поверить. «Съезжай оттуда дотемна, коли не хочешь осиротить тех, кто тебя любит», – сказала Мавка замогильным голосом и даже, вопреки своему обычаю, перекрестилась. Очень уж ей хотелось, чтобы слушатель напугался и избавил ее от кровавого дела.

Но глупец только засмеялся.

– А может, ты и есть Мертвецова Невеста? Тот я повстречал тебя на кладбище. Если так, приходи ночью, я буду ждать.

«Он не съедет, – сказала себе Мавка. – Что ж, знать такая у него судьба, я не виновата».

Она расстегнула ворот рубахи, зная, что приоткрывшийся там вид притянет мужчину сильнее магнита. Так и вышло. Взгляд пана опустился книзу и будто прилип.

«Навыдумывала я себе. Никакой он не царевич, а такой же, как все они», – нарочно подбавила в себя злости Мавка.

– Куда уставился, жеребче? – недобро рассмеялась она. – Не про тебя овес.

Рука, сжимавшая нож, наполнилась силой и уж изготовилась к смертельному удару.

Здесь пригожий пан вдруг сказал неожиданное.

– У меня такая же половинка песо, как у тебя. Не веришь? Смотри.

Он вынул из-за пазухи, потянув за цепочку, золотой медальон, а оттуда серебряную монету, будто наполовину отгрызенную. Мавка взглянула на свое монисто – правда! Точь-в-точь недостающая часть амулета!

Они приложили половинки, держа каждый свою, и разлом не просто сошелся, а монета срослась намертво! Потянув назад, девушка не смогла ее разъять. А между тем то ли от серебряного кружка, то ли от горячих мужских пальцев полился жгучий огонь, да такой, что Мавка вскрикнула. Ей было и больно, и сладко – так сладко, как ни в какой прежний миг всей ее жизни. Никогда раньше она ничего не боялась, а тут и затрепетала от ужаса, и оцепенела, и ощутила в груди нестерпимый жар.

От страха, ничего не понимая, девушка закричала «Отдай!» и дернула что было мочи.

Монета разделилась. Мужчина и женщина отшатнулись друг от друга, тяжело дыша.

Он что-то проговорил, но Мавка не слышала, у ней в ушах громко стучала кровь. Он попытался взять ее за руки – отпрянула.

– Неужто ты не видишь, что нам судьба быть вдвоем? Мы с тобою половины одного целого, – сказал он охрипшим голосом. И тем себя выдал.

Мавка поняла, кто перед нею.

Старая и мудрая паридайя когда-то ее предостерегала: «Бойся, девка, не полицейского

стражника и не татя с кистенем. Первый самое худое – запрет в темницу твое тело, а душа останется свободной. Второй может твое тело сгубить, но душа улетит. Для нашей сестры страшней всего Ловець. Он крадет твою душу, а ты и не заметишь. И станешь ты не привольная цыганка, а его, Ловця, половинка. Куда он, туда и ты, как собака на привязи. Ловець ликом бел, волосом злат, очами синь, и какая девка в них ни загляни, тут ей и конец».

«Никакой это не царевич Крижан, это Ловець по мою душу явился! – ахнула девушка. – Дура я дура, нашла кого черепом пугать».

«Девка, как зверь, на Ловця сама бежит, и коль ты попала в его тенеты, есть лишь одно средство: зажмурить глаза, чтоб не ослабеть духом, да ударить булатным ножом прямо в сердце, только тем и спасешься, – говорила старая цыганка. – Потому каждая из нас носит под юбкой нож».

На беду свой острый бычак Мавка выронила, когда ее ожгло колдовским огнем. А и не достало бы у ней сейчас силы в руке на лихое дело, пальцы дрожали и леденели. Однако решение Мавки было крепким. Не сейчас так после должна она пронзить Ловцю его коварное сердце, иначе навсегда лишиться ей воли.

– Так ты хочешь быть моим коханным? – вкрадчиво проговорила она, опуская глаза – знала, что ее длинные ресницы хороши.

– Больше жизни! – воскликнул змий.

– Ладно, приду к тебе ночью. Жди. Но ты, я чай, там не один? – вспомнила она про слугу.

Ловец пообещал, что своего человека отошлет и будет одинешенек.

– Гляди же. Окажешься не один – меня не увидишь, – всё так же избегая смотреть ему в глаза мрачно молвила она.

И сел он на коня, и ускакал, а она нагнулась, чтобы поискать в густой траве упавший нож.

* * *

С вечера Мавка, бледная, дрожащая, но исполненная отчаянной решимости, ждала в кустах подле дома. Сначала ждала, чтоб ушел слуга, и он ушел, насвистывая чужестранную песню. Потом ждала, чтоб совсем стемнело. Небо было ясным, ярко светил месяц, точь-в-точь половинка волшебной монеты, что висела на монисте, но с края неба подбирались облака, сулившие погасить серебристый свет. Мавке для крошечного дела был нужен крошечный мрак. Она знала, что не сможет

нанести верный удар, если будет видеть глаза Ловця. В хате горела лампа, однако девушка уже придумала, что, войдя, сразу ее погасит – еще до того, как посмотрит на свою жертву.

Перед самой полночью тучи наконец плотно задернули свой чернobarхатный полог, все предметы исчезли, остались только тени. Девушка, скрепя сердце, хотела уж приступить к исполнению своего кровавого замысла, но прежде чем она вышла из укрытия, слышался негромкий перестук. Кто-то ехал верхом со стороны кладбища, не побоявшись костей и разоренных могил.

Привыкшие к тьме глаза Мавки разглядели, как с седла спускается тонкая фигура. Некая женщина – судя по платью дама или барышня – привязав лошадь к плетню, быстро приближалась к дому. Донеслось частое дыхание, голос шепотом повторял: «И будь что будет, и будь что будет...». Незнакомка едва не задела притаившуюся Мавку рукавом, но не заметила ее. Лица во мраке было не рассмотреть, но дама была молода и, кажется, красива – ведь красоту распознаешь не только зрением, она источает род сияния.

Растерянная, ничего не понимающая, Мавка двинулась следом за ночной гостьей, благо та, поглощенная своими чувствами, ничего вокруг не слышала.

Женщина негромко постучала. Несколько мгновений спустя дверь открылась, в нее со двора ворвался ветер и, должно быть, задул лампу. В горнице сделалось темно, и более Мавка ничего не увидела – лишь что двое на пороге слились в объятьи.

«Кто это? Зачем она здесь? Почему нынче? Ведь он ждал *меня!*». Мысли теснились в голове девушки. Она стояла под открытым окном, прислушивалась к доносившимся изнутри звукам, и на второй вопрос: зачем незнакомка здесь – был дан ответ. Она пришла за любовью и получила ее.

Кто это такая? Тоже ясно. Еще одна жертва Ловца.

Почему явилась именно в тот час, когда Мавка собиралась ударом булата разрушить чары соблазнителя? Чему ж тут удивиться? Известно, что бесовская сила оберегает своих служителей.

«Ему досталась другая добыча. Я свободна, убивать его теперь незачем, я могу уйти», – сказала себе девушка – и не ушла.

Долгое время стояла Мавка у окна, слушая звуки страсти и поневоле воображая, что там, в горнице, не другая, а она предается лобзаньям и объятьям. Но вот звуки утихли. Утомленные любовники погрузились в сон.

Вдруг почувствовав ужасную усталость, Мавка села на землю, оперлась спиной о стену и тоже уснула. Ей снилось, что она несется по небу, сидя, как на коне, на многоцветной радуге, и по ее чреслам, членам, всему существу рассыпаются огненные искры.

Так пробыла она – то ли в сонном забытии, то ли в обмороке – не час и не два, ибо, когда глаза ее открылись, воздух уже наполнялся розовыми красками восхода. Не понимая где она и что с ней, Мавка смятенно поднялась с земли, огляделась и всё вспомнила.

Дверь хаты отворилась. Девушка едва успела отпрянуть за угол.

– Мы скоро свидимся. Мне без тебя отныне жизни нет, – услышала она ласковый женский голос.

Выглянув, Мавка увидела удаляющуюся жертву Ловця. Она держала шляпку в руке, распущенные

волосы опускались на спину, походка была танцующей.



«То же самое могло приключиться и со мной, – в страхе подумала Мавка. – Ловец похитил бы мою душу, и без него мне не было бы жизни».

Дама села в седло и пустила лошадь рысью, а Мавка вновь переместилась в свое прежнее укрытие. Надо было дожидаться, когда погубитель женских сердец отлучится, и забрать из тайника золото.

На сей раз ее терпение было вознаграждено. Поздним утром в дом вернулся слуга, и девушка было приуныла, но сразу после того оба – и господин, и его приспешник – засобирались в дорогу. Они уезжали отсюда навсегда, это было видно по поклаже, уложенной на круп коня. Мавка зажмурилась, чтоб ненароком не увидеть бесовского лица, и сидела так, пока всё не стихло.

Тогда она вошла в дом, спустилась в тайник и подняла оттуда одну за другой тяжелые сумки.

* * *

– Ей-богу, во всем свете нет девки ловчей и смышленней, чем ты, – радовался старый Янкель, звеня червонцами. – За это поплывешь назад, как королева. Сам подниму паруса, сам встану у руля, а ты полеживай на солнышке. Ты заслужила.

– Плыви один, я остаюсь, – ответила Мавка.

До той минуты она всё молчала, лицо ее было странно. Она и сама не понимала, что с нею творится.

– Как остаешься? – поразился жидовин. – Что тебе здесь делать?

– Не знаю. Монета зовет меня. – Узкая рука Мавки легла на монисто. – Мне вдруг открылось... Нельзя бегать от того, чего более всего боишься. Так убежишь от самое себя и после себя уже не сыщешь.

– Что-то не возьму я в толк твои загадки. – Янкель нахмурился, но спорить не стал. Он знал: если его питомице втемяшилась в голову блажь, уже ничем не вышибешь. – Иль ты хочешь забрать половину золота? Так не выйдет. Казна артельная! Дам тебе одну суму из трех, больше не проси.

– Ничего мне не надо.

Мавка оттолкнула от берега лодку, в которой сидел ее сообщник.

– Плыви, старый. Не поминай Мавку лихом.

Повернулась и пошла, ни разу не оборотившись. Волк бежал с нею рядом. Он не боялся быть половинкой и жил сполна, счастливо.

Янкель не удержал, не окликнул ту, с которой расставался навсегда. Он был доволен, что всё золото досталось ему, и сразу стал думать, не послать ли артель к черту и не затеять ли с такими хорошими деньгами какое-нибудь новое предприятие.

Удалось ли многоумному иудею осуществить свой замысел, что случилось со своенравною Мавкой и сыскала ли она самое себя, равно как и то, были ли встреченный ею пан похитителем женских сердец, нам неведомо, а выдумывать небылиц мы не станем.

Часть вторая

ТОДО



ТЕМРЮКСКИЙ УЖАС

1.

– Да что же он нейдет! Четвертый час пополудни! – молвил Оленин с досадой, омрачившей его доброе лицо с довольно большой, а-ля Гарибальди, бородой, которая однако же из-за молодой пушистости нисколько не придавала румянному лицу солидности, а лишь вызывала у людей поживших снисходительную улыбку: мол, желали когда-то и мы выглядеть старше своих лет; придет время, сударь, и вам захочется обратного.

Он уже в двадцатый раз выглядывал в окно на пыльную станичную улицу. Там было всё то же, что

четверть и полчаса назад. Старуха-хозяйка в татарском бешмете и чувяках, но в повязанном по-русски платке неторопливо рубила топором дрова; в соседнем дворе молодайка ряд за рядом стелила на траве выстиранные холсты, и Оленин опять задержался взглядом на ее крепких ногах, заголенных подоткнутой юбкой; на улице казачата с визгом и криками играли в свайку. Покачивал плодами на ветках фруктовый сад, зеленели спелые арбузы на бахче, вдали желтела тучная нива и меж колосьев торчали развалины древней каменной башни, напоминание об иных временах, когда здесь обитали совсем другие люди.

На севере об эту пору уже опадают листья, поля сжаты, небо серо и полно печальным ожиданием зимы, а здесь, на юге, близ теплого моря, еще стояло зрелое, ленивое, всё никак не оканчивающееся лето, очень надоевшее Оленину. Он с тоскою вспоминал холодный и свежий воздух русского раннего утра, желтую окраску октябрьского леса, даже морозящий серый дождь, хотя живучи в Москве редко просыпался до полудня и, подобно большинству городских жителей, мало обращал внимания на природу.

Оленин был недоучившийся студент, еще не нашедший своей стези и до недавнего времени не слишком усердно ее искавший. Покойный отец, николаевский генерал, оставил по себе славное имя и хорошее состояние, мать не чаяла души в единственном своем сыне и почитала его безделье «исканиями взыскательной натуры», втайне будучи рада, что ее Костя не съезжает из родительского дома. Говорят, что люди, обойденные в детстве вниманием и лаской, потом всю жизнь должны доказывать окружающим и самим себе, что достойны любви. Оленин же, обожаемый с младенчества, вырос в глубокой, естественной убежденности, что он центр вселенной и каждое случавшееся с ним событие, каждое движение его чувств имеет большую важность. Однако ж он был неглуп и совестлив; собственная пустоцветность его томила, он всё больше угнетался беспорядочной нечистотой своей жизни и очень хотел ее переменить. Не раз и не два говорил он себе: «Скоро я переживу Лермонтова, а между тем я ничего еще не успел и ничего кроме долгов не сделал. Я увял не расцветши, я истаскался! Надобно что-то решать!». И всё не решал.

Наконец очередной картежный проигрыш, раскол приятельской компании, неудачная любовь (или то, что он почитал за любовь), а более всего поредение волос надо лбом, однажды замеченное в зеркале и повергнувшее Оленина в трепет, побудили его к действию.

Он давно уже вывел для себя формулу хорошей жизни и не раз излагал свою теорию всем, кто соглашался его слушать. Идея была не нова и не Олениным придумана. «Все беды несчастного нашего отечества происходят от темности нашего народа, – горячо говорил Константин Дмитриевич. – Любые прекрасные идеи будут подобны семенам, бесполезно упавшим на сухую почву, покуда ее не взрыхлит просвещение. Мы – образованный класс. Наш долг и наша миссия нести свет знаний народу: обучать его грамоте, рассказывать об устройстве мира, общества и природы. Только этим возможно хоть сколько-то оправдать наше праздное и сытое существование! Не державное величие и не бунт, а единственно просвещение спасет Россию!».

– Что ж ты не поедешь учителем в какую-нибудь глушь? – спросил Оленина приятель,

которому наскучили эти прочувствованные речи, всякий раз одни и те же. Разговор этот состоялся вечером того самого дня, когда Константин Дмитриевич обнаружил первые признаки плешения.

– А вот и поеду! – объявил он. – И не просто в глушь, а туда, куда направит меня судьба. Слово чести! Как сложатся буквы, так и будет!

Увлеченный понравившейся ему мыслью, он разрезал лист бумаги, написал на кусочках весь алфавит и стал метать жребий. Первая буква выпала «ер», поскольку Оленин сгоряча, не подумав, написал клочки всеми литерами без разбору. Тогда он убрал буквы, с которых географическое название начинаться не может, начал сызнова.

Вышло сначала «Т», потом «Е», наконец «М». Сочтя, что этого довольно, Константин Дмитриевич раскрыл энциклопедию (разговор происходил в клубе, где имелась и библиотека). Первым шел уездный город Темников Тамбовской губернии, глушь глушью, в 65 верстах от железной дороги, и Оленин решил было, что это и есть его жребий, да и имя говорящее: желал просвещать тьму – так нá тебе Темников. Но на те же три буквы начинался и еще один городишко, тоже уездный, и, прочтя

его название, Константин Дмитриевич сразу понял, что вот он, знак судьбы. У него было обыкновение во всем угадывать некие знаки, адресованные ему свыше, и этот поразил его своей несомненностью.

Над компанией, к коей принадлежал Оленин, царствовала дама именем Мария Тимофеевна, за свой деспотизм получившая шутовское прозвище «Марии Темрюковны», в честь «тугонравной и зелолютой» супруги Ивана Грозного. Второй город, начинавшийся на Т-Е-М, был Темрюк, области Кубанского казачьего войска.

Ехать в Тамбовскую губернию было скучно и серо, так что и сама новая жизнь, которую мечтал построить для себя Оленин, тоже приобретала в его воображении какие-то скучные серые краски. Иное дело Кавказ, где погиб Лермонтов, и не «губерния», а «область казачьего войска». Увлекла Константина Дмитриевича и мысль о том, как он напишет Марии Тимофеевне письмо, объяснив свой выбор. Может быть, она оценит его душу и поймет, что он не таков, как остальные, что любовь способна подвигать его на сильные, недюжинные поступки. Появилась и вторая мысль, задняя, которую он тут же от себя спрятал: вдруг

Мария Тимофеевна скажет «ах вот вы, оказывается, какой» и попросит остаться. Тогда Темрюк может и подождать.

Но вышло иначе. Мария Тимофеевна его похвалила, поставила в пример остальным, но остаться не попросила. На завтра же, в приступе мрачной решимости, он отправил в Темрюкскую городскую управу длинное письмо, присовокупив рекомендацию отцовского сослуживца и друга семьи, полного генерала с именем, известным всей России. Генерал горячо одобрил намерение послужить отечеству «если не на поле брани, так хотя бы на ниве просвещения». После этого отступить вовсе стало некуда.

На время Оленин с чистой совестью человека, исполнившего что должно, погрузился в прежнюю жизнь, которой так тяготился, и теперь предавался всегдашним развлечениям без чувства вины. Так рекрут перед отправкой на солдатскую службу беспробудно пьет и буйно гуляет, распевая про «последний нонешний денечек».

Но два месяца спустя из Темрюка пришел ответ. Уездный школьный смотритель со странной фамилией Пустынько витиевато и прочувствованно

писал, что в недавно учрежденном четырехклассном училище обучать «малых сих» некому кроме священника, который «сведущ в Науке Божией, но нетверд в знании наук земных». Далее выражалась робкая надежда что «скромнейшее жалованье в двадцать рублей, предписанное по штату», не оскорбит «столь возвышенного и ученого человека», «зато насчет местожительства и дров беспокоиваться не придется».

Оленин тут же послал по почте свое согласие, причем, поддавшись порыву, выразил готовность служить вне штата, вовсе не обременяя своим содержанием бюджет уездного просвещения. В дорогу Константин Дмитриевич собрался с лихорадочной быстротой, очень боясь, что дрогнет.

Еще недавно московская жизнь не выпустила бы его из своих ленивых, но липких щупальцев, однако компания, в которой Оленин проводил чуть не все вечера, которая, собственно, и была «московская жизнь», вдруг, в несколько недель, совершенно распалась.

Причиной тому были грозные события, разделившие русское общество на две, а затем и на три части. Ужасные вести о кровавых происшествиях

в Литве и Польше вызвали не только воинственное возбуждение в кругах консервативных, но и внесли смущение в умы так называемых «передовых людей», к каковым причисляли себя оленинские приятели, радовавшиеся всякому дуновению свободы и не пропускавшие ни одной книжки герценовского «Колокола». В газетах даже и либерального толка писали о ненависти поляков ко всему русскому, о расправах, учиняемых повстанцами над всяким, заподозренным в несочувствии Жонду. Вся Москва оказалась охвачена негодованием и патриотическим порывом; прежние пропагаторы свобод спешили заявить, что они *primum omnium* русские люди, а из всех стихотворений Пушкина чаще всего стали поминать «Клеветников России» и «Бородинскую годовщину». Герцен из своего Лондона писал, что высокие принципы важнее национальных интересов и подданства, что идет война не поляков с русскими, а Свободы с Тиранией, но Мария Тимофеевна со свойственной ей смелостью выражений презрительно сказала, что кровь горячее чернил и что любить Россию из Лондона столь же невозможно, как любить живую женщину чрез воздушные поцелуи – женщине надобно совсем

другое. «Колокол» мгновенно вышел из моды, один приятель Оленина поступил в военную службу, и Мария Тимофеевна сказала, что наступили времена, когда подлинные мужчины не сеют добро, а бьются со злом. Константин Дмитриевич отнес это на свой счет, оскорбился и ушел в оппозицию как к Марии Тимофеевне, так и к воцарившемуся повсеместно общественному настроению.

Их таких было только двое, он и Корсаков, еще один недоучившийся студент, имевший репутацию человека умного и злого на язык. Корсаков был в чахотке. Должно быть от этого он ненавидел весь свет и беспутничал с какою-то исступленной неукротимостью. «Гиблая нация русские, – говорил он за третьей бутылкой вина, не пьянея, а только бледнея. – Рабство в крови даже у дворянчиков, и у дворянчиков даже больше, чем у дворовых. У тех по крайней мере нет выбора, ходить иль ползать, а наш брат сам на коленки бухнется да еще с восторгом захрюкает: «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?». По убеждению Корсакова, выход был один: пустить в русские сени красного петуха, чтоб мужики убежали из горящей избы, схватились кто за багор,

кто за топор, и коли народишко разойдется во всю ивановскую, тут может что и выйдет.

Да как же ты запустишь красного петуха, спрашивал пьяненький Оленин. «Уж это мое дело, – отвечал Корсаков, криво усмехаясь. – Кому и лезть в огонь, как не мне, без пяти минут покойнику? А только и ты, Костя, думай, коли ты не тюфяк».

Такие разговоры с последним оставшимся товарищем смущали и тревожили Оленина. В них ощущалась тьма, заглядывать в которую он не хотел и боялся. Еще и по этой причине Константин Дмитриевич собрался в Темрюк с такою быстротой.

Корсаков провожал его до первой заставы. На прощанье сказал: «Не передумаешь? Ну и черт с тобою, творец малых дел. Езжай, тюфяк, в свой Темрюк. Сопьешься там с тоски. Прощай. Больше не свидимся». Небрежно сунул руку и пошел прочь.

2.

Об этих обидных словах Оленин сейчас и думал, нетерпеливо дожидаясь возвращения своего слуги из Тамани. Прав Корсаков. Лучше и достойней

было бы с головой кинуться в огонь и сгореть, чем презирать самое себя в Темрюке, и даже не в Темрюке, до которого тюфяк и творец малых дел не добрался, а в этом пыльном Ак-Соле.

Вышло так, что, выезжая из Тамани, последней ночевки перед пунктом назначения, до которого оставалось 50 верст, Оленин решил выпить в дорожном трактире стаканчик за окончание путешествия – окончание, которого всё больше страшился.

За соседним столом шла игра. Он сел вытянуть карту на удачу, увлекся, спустил все свои деньги, пятьсот рублей, на которые собирался жить на новом месте, и еще задолжал сто пятьдесят, да не кому-нибудь, а таманскому исправнику. Капитан объявил, что верить на слово «абы кому» привычки не имеет и не выпустит Оленина, пока не получит расплаты.

Константин Дмитриевич оказался в ужасном положении: без копейки и без пристанища – в гостинице его отказались селить в долг, а чемоданы забрал в залог, до расчета, суровый исправник, которому всё здесь подчинялось.

Если б не слуга, Оленин бы пропал. Но Герасим, услуги которого Константин Дмитриевич привык принимать за должное (а в Москве бывало на него и покрикивал, один раз в сердцах даже замахнулся кулаком), за время долгой дороги раскрылся в новом качестве. У Оленина было ощущение, что, удаляясь от привычной жизни в направлении неведомого Темрюка, он с каждым днем будто становится меньше, сжимается; Герасим же делался фигурой всё более крупной. Он ловко и толково распоряжался на остановках, не терялся, когда случалась поломка или заминка, а в Обояни отпоил барина травами, когда тот чуть не помер от нехорошей водки.

Не растерялся Герасим и после случившейся катастрофы. Он устроил через того же исправника так, что письмо в Москву отправилось не обычной почтой, а курьерской эстафетой, какой доставляют военные реляции. Затем Герасим продал на базаре за восемь рублей свои часы, однажды подаренные ему Константином Дмитриевичем с карточного выигрыша, и нашел в загородной станице Ак-Сол жилье в обывательском доме, за тридцать копеек в день с хлебом, яичницей и крынкой молока.

На этой простой пище, в трезвости и душевном упадке Оленин существовал уже третью неделю. Эстафета достигала Москвы за семь дней, столько же времени требовалось на обратный путь, а ответ всё не приходил. Каждый день Герасим отправлялся пешком за десять верст в Тамань. Ушел он и нынче утром, уж давно ему следовало вернуться.

Оленин ждал денег от матери, терзаясь одновременно нетерпением и унижением. Он налгал, что был обкраден, знал, что мать поверит – она всегда и во всем ему верила, и оттого презирал себя еще больше.

Быть может, и хорошо, что Герасим задерживается, подумалось Оленину. Вдруг эстафета пришла, и надобно исполнить какие-то формальности, чтоб получить передачу.

Он решил погадать на кольце, имелась у него такая привычка.

Кольцо было вот какое.

В день совершеннолетия мать подарила «милому другу Косте» свое заветное сокровище, которым очень дорожила – старинный золотой медальон испанской работы. Оленин был возвращен

в любви к Испании. С детства его окружали пейзажи Андалузии и офорты Гойи, в гостиной на стене висела очень недурная копия мурильевской «Мадонны», роман Сервантеса мать читала ему вслух едва не с колыбели. Бог весть, откуда московская дама прониклась такою любовью к далекой стране, но эту привязанность унаследовал и сын. В детстве он воображал себя то Сидом, то Кортесом, то Боливаром.

В золотом медальоне хранилась половинка старинной серебряной монеты, по преданию – так сказала мать – приносящей счастье обладателю.

Медальон Оленин в несчастливую минуту поставил на кон, но удачи вещица ему не принесла и ушла всего за двести рублей, хоть стоила много дороже. Из половинки монеты Константин Дмитриевич заказал сделать перстень и всегда носил его на пальце. Ювелир просто загнул серебряный полумесяц, спаял концы, и получилось кольцо, занимавшее на безымянном пальце целую фалангу. На перстне Оленин заказал вычернить очень нравившийся ему девиз: TODO O NADA, «Всё иль ничего». Кольцо было немного великовато и вечно поворачивалось то одной, то другой стороной.

Загадывая, сбудется что-то или нет, либо делать ему что-то или не делать, Оленин поднимал руку и смотрел. Если выпадало TODO, это было хорошо, если NADA – плохо.



Сейчас он взглянул на палец и увидел, что кольцо повернуто кверху надписью TODO.

Деньги придут нынче, сказал себе Константин Дмитриевич, вновь подошел к окну и вскрикнул.

По улице, колыхаясь на ухабах, ехала ногой-ская телега, запряженная длинноухой лошастью, а на козлах рядом с возницей сидел Герасим. По довольной физиономии слуги, а также по торчавшим из телеги чемоданам, Оленин тотчас понял: деньги получены, и расторопный Герасим даже успел расплатиться с исправником и забрать багаж, потому и вышла задержка.

Чувство, охватившее Оленина, было смешанным, в нем соединились облегчение и страх, будто сердце сначала вспорхнуло кверху, но тут же было стиснуто холодной и цепкой рукой.

«Теперь в Темрюк. Нынче же к ночи буду там», подумал Константин Дмитриевич с тяжелым, тоскливым чувством.

Воодушевление, с которым он два месяца назад уезжал из Москвы, давно схлынуло. Всю свою жизнь проведший в городском особняке да в милой подмосковной усадьбе, Оленин совсем не знал настоящей, глубинной Руси, и по дороге от станции к станции, с пригорка к пригорку, через неминуемую низинную грязь, в которой вязли колеса, мимо прогоркших нищетою и несчастьем серых деревенок, мимо похожих друг на друга как

выводок мышей городишек, мимо церквей с золотыми куполами и непременными нищими на паперти, всё острее ощущал, как проваливается в какую-то топь, откуда не выберешься. Снова и снова он перечитывал письмо смотрителя Пустынько, и теперь видел в длинных цветистых фразах не провинциальное простодушие, а фальшь и пошлость. И потом – что это: «Высокоодобрительная аттестация, данная Его Сиятельством Вашему похвальнейшему намерению, позволяет надеяться, что в Вашем лице Темрюк обретет не сеятеля крамольных искушений, а истинно добронамеренного и богобоязненного просветителя»? Не предупреждение ли, что за приезжим учителем будут следить, чему он учит детей и какие идеи помещает в юные головы? Да уж верно будут! И всякое живое слово, пробуждающее мысль и достоинство, сочтут «крамольным искушением». На что же тогда потратится жизнь? На механическую рутину, на обучение чумазых казачат – точно таких же, что визгливо играют в свайку – алфавиту и таблице умножения? Добро б еще Оленин любил детей, но они всегда казались ему глупы и докучны.

Однако повернуть обратно было совершенно невозможно. Судьба неумолимо влекла Константина Дмитриевича в Темрюк.

И быти тому месту, где царствует смотритель Пустынько, пусту.

3.

Всё оказалось, как догадался Оленин. Прибыла эстафета, с нею пришел конверт от матери с письмом и деньгами. Герасим заплатил долг, забрал багаж, да еще и нанял повозку до Темрюка.

Очень собою довольный, Герасим говорил:

– Только уж вы, Константин Дмитрич, как хотите, а деньги останутся у меня. Целее будут. На что надо, сам потрачу, а вам буду выдавать по надобности.

Оленин не слушал, мрачно читая письмо. «Я так винюсь, что со своею глупой любовью и чрезмерной попечительностью плохо подготовила тебя к враждебности бытия, – писала мать своим красивым смольнинским почерком. – Ты так благороден, так доверчив, так полон высоких помыслов, а жизнь груба, жестока и изменна. Я не нахожу себе места, думая: моего мальчика

обокрали, а могли покалечить или убить. Ты единственное, что у меня есть, ты да несколько драгоценных воспоминаний».

Какой же я подлец, подумал Константин Дмитриевич, смахивая слезы, и дал себе клятву никогда, что бы ни случилось, более не лгать той, которая его так любит.

– Едем! Чего тянуть? – сказал он Герасиму. – Что возница? За сколько времени доедем?

– Говорит, дорога сухая, лошадь крепкая. Один раз надо будет остановку сделать, и еще до рассвета, затемно будем в Темрюке.

«Затемно в Темрюке, затемно в Темрюке», стучало в голове у Оленина, сидевшего в скрипучей телеге на ворохе сена и глядевшего в небо. И странно было бы прибыть в Темрюк засветло, он же не Светлюк, глупо скаламбурил Константин Дмитриевич.

Представил себе крошечную улицу. Фонарей, конечно, нет. Домишки с черными окнами. Лай собак. Если даже выглянет луна, ее свет засверкает только на поверхности грязных луж. И это навсегда...

Ногаец мычал унылую, лишенную мелодии песню. Оживленный дорогой Герасим без умолку говорил. Он был философ.

– Что это вы, Константин Дмитрич, всё киснете, печенку себе грызете? Жить вы не умеете, вот что. Учитесь жить у книжек, а надо у кошек.

– Что ты врешь? Каких кошек?



– Обыкновенных, вроде Мумырки, что у нашей хозяйки на крыльце сидела. Кошка она чему учит? Что тебе Бог дал, тому и радуйся. Жмурься на солнышке, оно тебе и счастье. А человеку жить лучше, чем кошке. Мы чай не мышами кормимся.

– Да ну тебя к черту. Однако покормиться бы не мешало. С утра ничего не ел.

Телега как раз выезжала на темрюкский тракт, и вдали показался трактир – тот самый, где Оленин две с лишком недели назад проигрался.

– И то, – раздумчиво молвил Герасим. – У меня тож брюхо подвело. А еще не переиначить ли? Этого (он кивнул на ногойца) я рассчитаю, суну рубль. Пускай катит в Темрюк на своей таратайке без нас. Переночуем на настоящей постеле, а утром поедem на хороших лошадях. Въедете в Темрюк гордо, не по-вахлацки. И средь бела дня, а то куда мы ночью пристроимся? Решено. Эй, бачка, вези вон туда!

«Даже меня не спрашивает, диктатор», – подумал Константин Дмитриевич, но без раздражения, а с умилением. Темрюк отодвигался до завтра, и решилось это не по его, Оленина, слабости, а

само собою, по резонным соображениям. У него возникло чувство приговоренного, который вдруг получил отсрочку казни.

Телега въехала в широкий грязный двор. По сторонам располагались конюшни и прочие службы, посередине – большая бревенчатая изба в два этажа с претензией на нарядность, выражавшаяся в резных оконных наличниках и крыльце под узорчатой крышей. Внизу находилась зала, наверху номера. Это было самое ближнее к Тамани питейное заведение, не стесненное крепостными строгостями. Здесь провожали отправляющихся далее на Кавказ и почти всегда было шумно. Доносились оттуда оживленные голоса и ныне.

Оленин, стосковавшийся в своем ак-сольском карантине по тому, что он считал «живою жизнью», ощутил нетерпеливое волнение в груди, в точности такое же, как, бывало, в Москве, перед входом в куда более пышные увеселительные места.

– Что ты возишься? – оборотился он к Герасиму, спорившему с возницей за плату. – Дай ему сколько он хочет и идем.

Неподалеку хмурый горец в надвинутой на самые глаза косматой папахе снимал с арбы корзины с битой птицей, должно быть доставленной на продажу из какого-то недалекого аула. На диком лице его, заросшем рыжей бородой, застыло выражение брезгливости.

– Ах, отдай мне деньги! Много воли взял! – в сердцах воскликнул Константин Дмитриевич.

Он вытащил у Герасима из-за пазухи пачку банкнот, сунул одну ногойцу, сказавши что они доберутся до Темрюка сами, и стал пересчитывать остальные. Рыжий горец перевел тяжелый взгляд на крикливого барина, сплюнул.

Мать прислала целую тысячу рублей. За вычетом уплаченного исправнику долга и сунутой ногойцу десятки осталось восемьсот сорок рублей, показавшиеся Оленину целым состоянием. Он сразу же пообещал себе, что никогда больше не «сорвется», будет жить на те двадцать рублей в месяц, которые составляют учительское жалованье, и вышло, что при недорогой квартире этой суммы хватит на два, а то и на три года. У матери более ни копейки не попрошу, пообещал себе Константин Дмитриевич и поднялся на крыльцо.

В трактире всё было так же, как в тот, недоброй памяти, раз. За столами сидели и ели, а по большей части пили маленькие и большие компании, кое-где виднелись и одиночки – то были проезжающие. В дальнем углу шла карточная игра.

Укрепленный своей решимостью никогда больше не «срываться», Оленин решил нарочно сесть неподалеку. Он не сомневался, что выдержит испытание, и даже хотел этого испытания. Герасиму он велел взять что захочет из буфета и ужинать в номере, чтоб присутствие слуги не облегчало экзамена. Сам же попросил не водки, а чаю, жареной колбасы, черкесского сыру, лепешек, и со спокойной уверенностью хорошо подготовившегося ученика стал наблюдать за играющими.

Метал красивый, немного узкий господин с аккуратными усами, в нарядной куртке с гусарскими бранденбурами, но не военной, а статской. Он, видно, был поляк, потому что приговаривал «проше пана», а после каждой положенной на стол карты с улыбкой произносил «то добрже, бардзо добрже». Оленин сразу проникся к банкомету презрением, подумав: его соотечественники сражаются за свободу, а этот чертит мелком по зеленому

сукну, и ему «бардзо добрже». Еще и гусаром вырядился.

Нехороши Константину Дмитриевичу показались и двое остальных играющих. Один, пожилой, несколько засаленный, неприятно облизывал толстые губы. Другой, похожий на средней руки помещика из захолустья, без конца мелко крестил колоду и, прежде чем выложить карту на стол, непременно ее целовал. Судя по рублевым бумажкам и россыпи четвертаков с гривенниками игра шла пустяковая.

Константин Дмитриевич не только не ощутил азарта, а даже поморщился от гадливости. Очень этим ободрился, перестал смотреть на игроков. Скоро его вниманием завладел стол, находившийся по другую сторону.

Там сидела молодая женщина, одетая как дама: в хорошем шелковом платье, в шляпке, с жемчужными серьгами в маленьких не закрытых волосами ушах. Но дама никак не могла быть в трактире сама по себе, без спутника. Однако ж это не была кокотка – женщин такого сорта Оленин повидал много и сразу их распознавал по ищущему несытому взгляду. Ее же взгляд никого не

искал, он был обращен словно внутрь себя, в нем читалась грустная, глубокая задумчивость. Поразило Константина Дмитриевича и лицо. Оно было бледное, с тенями во впадинках под острыми скулами, которые должны были бы портить своею неправильностью облик, но отчего-то не портили, а придавали ему какую-то бередящую нездешность. В первый миг Ленину показалось, что женщина похожа на московскую Марию Тимофеевну, но нет, та была светило, притягивавшее планеты, а эта скорее всё окружающее отталкивала и к себе не подпускала, и тем не менее к ней тянуло. На нее хотелось смотреть, чтобы понять, чем объясняется это притяжение. Красотою? Нет, она не могла считаться красивой в классическом смысле. Тут было нечто иное. Очень возможно, что притяжение это ощущал один только Ленин. Другие столующиеся, должно быть, уже насмотревшись на женщину и не найдя в ней ничего интересного, на нее не глядели.

А Константин Дмитриевич, облокотившись на стол и прикрыв глаза ладонью, стал украдкой наблюдать за своею соседкой и чем дольше к ней

присматривался, тем больше им овладевало странное волнение.

В незнакомке угадывалась какая-то сложная, необыкновенно скроенная жизнь. Вдруг подумалось: а каково это – делить судьбу с такой женщиной? С нею, верно, не заиснешь и в Темрюке, потому что она везде будет центром вселенной, и если поселится в Темрюке, то захолустьем окажется Москва. Мысль была диковинная, малопопятная. Главное же, Оленин не мог определить, что такое быть с подобной женщиной – огромное счастье или огромное несчастье, однако же непременно что-то огромное.

Внезапно та, за которой он подсматривал, подняла на него глаза и тихо засмеялась. Поняв, что пойман, Константин Дмитриевич залился краской и в замешательстве стал зажигать папиросу.

– Ишь, покраснел. Ненаглый. Что украдничает? – Ее полные губы кривились в усмешке. – Хороша я тебе кажусь?

– Очень хороша, – ответил он, чувствуя, как горят щеки.

– Но и не робкий. Это нечасто бывает, чтоб ненаглый, но и неробкий, – будто сама себе негромко сказала незнакомка. – Не возьмешь в толк, кто я?

– Не могу понять, *какая* вы. То мне кажется, что очень плохая, а то, наоборот, что очень хорошая.

Оленин сам себе поразился, как легко и просто он это сказал, совсем не так, как обычно разговаривал с женщинами.

Перестав усмехаться, она посмотрела на него долгим, вопрошающим и, показалось ему, беспокойным взглядом.

– Это ты, кажется, хороший. А я скверная, очень скверная.

Взгляд ее опять сделался невыразимо печален, так что у Константина Дмитриевича внутри все сжалось.

– Я вижу, что вы в беде, – быстро произнес он с бьющимся сердцем. – Почему вы одна? Что с вами? Я помогу вам, я защищу вас, только скажите как.

Она засмеялась странным смехом – лицо сделалось веселым, а глаза остались грустными, и появилось в них еще что-то, пожалуй, смятенное.

– Он меня защитит, вы только послушайте! А сам телята телятей. Ты вот что. Ты хочешь, чтоб я к тебе пересела?

– Хочу! – воскликнул он.

– Тогда молчи. Ни слова больше не говори.

Женщина поднялась, подошла. Оленин хотел вскочить, пододвинуть стул, но она ударила его по плечу.

– Нешто я сама не сяду? – Опустилась напротив. – Только уговор. Ни о чем не говори, и я не буду. Устала я от слов. Просто посидим.

– Скажите хоть как вас зовут!

– Агафья Ивановна. А себя не называй, мне не нужно. И всё, молчи.

С Олениным в жизни не случилось ничего до такой степени странного. Он смотрел на женщину, сидевшую близко, а она на него в полном молчании. Лицо Агафьи Ивановны было неподвижно, взгляд рассеян, будто она то ли не видела Константина Дмитриевича, то ли видела не только его, а еще нечто, заметное ей одной. Один раз он даже оглянулся – нет ли чего-то примечательного у него за спиной. Позади, у стены, стоял давешний рыжий горец, что разгружал во дворе битую птицу. Должно быть, теперь он ждал хозяина, чтобы получить расчет, и глядел исподлобья на всех находившихся в зале. Нет, Агафья Ивановна смотрела

не на этого человека, который ничем не мог ее заинтересовать.

4.

Когда намеченная добыча обернулась, Плыжы-Галим отвел глаза чуть в сторону, и гяур, скользнув по нему безразличным взглядом, снова отвернулся. Галим знал, что для чавкающих, пьющих вино, галдящих, дымящих табаком гяуров он никто и ничто, невидимка, не человек, и они тоже не были для него людьми. Когда-то, в юности, он испытывал любопытство к этим чужакам, ломавшим и уничтожавшим вековую жизнь гор, хотел понять, что они такое, пожил среди них, выучил их шипящий змеиный язык и даже научился разбирать их письма, но лишь убедился: русские – зло, которое должно быть истреблено. Оно большое и сильное, победить его невозможно, но если враг могущественней, это не означает, что с ним не нужно бороться. Джигит – не тот, кто обязательно побеждает, а тот, кто никогда не сдается.

«Плыжы» было прозвище, оно означало «Красный». «Красным» Галима прозвали из-за цвета волос и из-за привычки умывать руки

в крови убитых врагов. Было время, когда Галим водил в походы и набеги сотню воинов, потом десятков, сейчас с ним ходили только два нукера. Людей в горах, *настоящих* людей, осталось мало. Кого-то убили, кто-то уехал в Турцию, а многие покорились русским и превратились из барсов в баранов. Галим знал, что ему недолго жить вольной жизнью и вообще – жить. Но близость смерти его не пугала. Его вообще ничто не пугало. На том свете, у Аллаха, лучше, чем на этом. Потому что этот свет совсем, совсем плох.

Однако и здесь еще имелись свои радости.

Два часа назад Галим и его люди зарезали на дороге шапсуга, везшего кур и уток для продажи. Шапсуг был из баранов, покорившихся русским, а баран – не человек, его не жалко.

Заур и Сахид засели в кустах на Темрюкском тракте, а Галим отправился подбирать хорошую добычу.

Ему повезло. Во дворе трактира он увидел молодого гяура с пухлым, слабым лицом, пересчитывавшего деньги в толстой пачке, и подслушал, как тот говорит со своим слугой про Темрюк. Значит, поедет туда не сегодня так утром. Нужно дождаться.



Забрав птицу, трактирный мужик сказал: «Пождешь. Хозяин занят». Галим встал в трактире у стены, брезгуя о нее опираться. Смотрел на гяура, сидевшего с бесстыжей русской женщиной, не опускающей глаз. Ждал. Терпения у Галима было много. Охотясь на кабана, он мог сидеть в засаде и шесть, и восемь часов. Сколько понадобится.

5.

С Константином Дмитриевичем происходило удивительное. Он перестал видеть трактир, слышать голоса, звуки. Осталась только женщина, и она уже не была ему чужая, он знал ее лучше и полнее всех людей на свете, они были одно. Словно прожили вместе годы и понимали друг дружку без слов.

Каждое утро он просыпался с нею рядом, и это был праздник. Находиться с нею, просто идти рядом, было волнующим приключением. Ожидание вечера, который они проведут вдвоем, было счастьем. И никто, совсем никто, весь остальной мир был им не нужен.

Вот, оказывается, как можно жить, думал потрясенный Оленин. Вот как только и *должно* жить! А всё прочее – морок и Темрюк.

Сколько времени это длилось, Константин Дмитриевич определить не взялся бы. Наверное, недолго. Зажженная, но не тронутая папироса еще дымилась в пепельнице.

Агафья Ивановна коротко, сердито рассмеялась, и наваждение закончилось.

– А ну тебя, – сказал она. – Тебя и нет вовсе. Ты мне примерещился. Катись, колобок, своей дорогой. Радуйся, что не съели.

И хотела подняться.

– Пойдите! – вскричал он, придя в ужасное волнение. – Я чувствую, я знаю, что вы в беде! Неужто я ничем не могу вам помочь? Клянусь, я...

Задохнулся, не договорил.

На ее лице возникло и тут же исчезло злое, даже жестокое выражение. Или то было отчаянье? Фантазия рассеялась, он опять не понимал ее слов, не угадывал ее чувств.

Агафья Ивановна снова опустилась на стул.

– Так ты хочешь мне помочь? – улыбаясь лишь одним углом рта молвила она. – Что ж, помоги. Видишь вон того ферта?

Она показывала пальцем на поляка, игравшего в карты.

– Видишь у него под локтем монисто?

В самом деле, близ игрока на столе лежало ожерелье из серебряных монет, какие носят цыганки.

– Я проиграла его, а оно мне очень дорого. Отыграй – тем меня и выручишь.

– Женщины не играют в карты, – удивился Оленин.

– Мне что захочется, так и поступлю – вот мой закон. Я и играю, и одна вино пью, и люблю кого захочу. – Агафья Ивановна вскинула подбородок. Ее глаза блестели. – Явишь удачливость, вернешь мое монисто, может, и тебя полюблю. Я люблю удачливых.

– Играть я не стану, я зарок дал, а ожерелье верну, – сказал Константин Дмитриевич.

Он встал, подошел к играющим. Те воззрились на него.

– Пан желает присоединиться? – спросил «ферт».

– Я желаю выкупить у вас вот эту вещь. Сколько вам угодно за нее получить?

Длинное с хрящеватым носом лицо поляка презрительно поморщилось.

– Я не торгаш и в продажи не вступаю. Если пану нравится моя вещь – готов поставить ее на кон.

«Только до выигрыша и ни сдачей более», – предупредил себя Константин Дмитриевич, чувствуя привычный озноб, всегда находивший на него при виде зеленого сукна.

– Извольте. У вас штосс? Во что ставите монисто?

– Прежде, как принято у цивилизованных народов, представьтесь. Мое имя Тодобржецкий.

– Оленин.

Поляк подвинул серебряное украшение на середину стола и объявил его в пятьдесят рублей. Торговаться, чувствуя на спине взгляд Агафьи Ивановны, Константин Дмитриевич счел неприличным, хоть это было раз в пять дороже, чем могли стоить несколько монет, одна из которых, наполовину стертая или обломанная, в точности походила на ту, что превратилась в перстень на оленинском пальце.

Двое остальных игроков, по-видимому, не имевших таких денег, в партии не участвовали.

Понтировал Оленин. Он поставил на червовую даму. На третьем сбросе узкая, в золотых кольцах рука Тодобржецкого вынула и положила направо даму пик.

– Моя ясновельможна пани, моя крулева, – поклонился ей банкомет, забирая выигрыш. – Угодно пану метать самому?

Они поменялись. Поляк поставил на бубнового короля. Пиковый, брошенный Олениным, лег влево.

– То добрже, – улыбнулся в подкрученные усики Тодобржецкий.

Раздосадованный и раззадоренный, Константин Дмитриевич немедля повысил ставку, чтобы хватило отыгаться и выручить монисто.

Десять минут спустя, проиграв все деньги из пачки, он сидел остолбенелый, слыша звон в ушах.

Поляк придвигал и пересчитывал бумажки. Монисто лежало на зеленой поверхности. На серебряной монете посверкивал солнечный луч, остальные монеты были черны и тусклы.

Растерянно обернувшись на Агафью Ивановну, Оленин увидел, что ее нет ни за столом, ни в зале.

– Куда вышла сидевшая со мною дама? – спросил он.

– Какая дама? Пан сидел за столом один, – холодно ответил поляк. – Угодно ль вам играть еще? Коли нет, я продолжу понтовать с этими господами.

– Я поставлю вот этот перстень! Против мониста! – воскликнул тогда Константин Дмитриевич, хватаясь за безымянный палец.

Кольцо было повернуто кверху словом NADA.
– На мелочь не играю, – был ответ.

Оглушенный, пошатываясь, Оленин направился к выходу. Проходя мимо горца, всё стоявшего неподвижно в ожидании платы, слегка задел его рукавом и не заметил этого.

Дикий человек отстранился, даже не повернув головы. Он смотрел на поляка.

У выхода Константина Дмитриевича окликнул спускавшийся из номера по лестнице Герасим.

– Неси вниз чемоданы. И ни о чем не спрашивай! – крикнул Оленин сердито, как если бы слуга был перед ним виноват.

Ногаец, которому давеча было заплачено десять рублей, еще не уехал. Он поил лошадь у колодца.

– Эй! – позвал Оленин. – Я передумал. Мы едем с тобою в Темрюк. Нынче же!

Такому как мне только и место, что в Темрюке, подумалось Константину Дмитриевичу без

горечи, а с безразличием. Туда моей жизни и дорога. У кого конец – делу венец, а у меня Темрюк – жизни каюк. Не вышло TODO, получай NADA. И черт с тобой.



СОН АГАФЬИ ИВАНОВНЫ

В начале октября 186... года, в шестом часу полудни, когда южное солнце еще высоко светило в небе, по скрипучей лестнице довольно дрянного трактира, который располагался на почтовом тракте из заштатного городка Т. в уездный городишко, начинавшийся на ту же букву – а впрочем что уж таинствовать, на дороге из Тамани в Темрюк, бодро стуча каблуками поднимался довольно красивый, хоть и несколько потрепанный господин в как бы военном, а в то же время статском сюртуке с гусарскими бранденбурами. Худое и узкое, немного лисье лицо светилось довольною улыбкой, нафабранные усики закручивались кверху наподобие торчащих из петушиного хвоста перьев; в одной руке бодрый господин держал только что истребованную в буфете бутылку

шампанского вина, в другой два бокала. На втором этаже, где находились номера, напевая приятным тенорком «Еще Польша не сгинела», он стукнул в одну из дверей локтем и крикнул:

– Отвори, кохана! У меня руки заняты!

Дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина, внешность которой – а впрочем не только внешность и даже не в первую и не во вторую очередь внешность – заслуживают подробного описания.

Агафья Ивановна (так ее звали) относилась к разряду женщин, каких другие женщины никогда и ни за что не признали бы красивыми, найдя тысячу изъянов в ее лице и фигуре, но мужчина, почти любой, при первом же взгляде на нее ощущал некое сиянье, в котором даже неправильности обретают прелесть. А черты Агафьи Ивановны – придется согласиться с женщинами – были не то чтобы идеальны. Очертание лица ее было как бы слишком широко, а подбородок выходил даже капельку вперед. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдававшаяся вместе с подбородком, была вдвое полнее и как бы припухла. Плечи тощеваты, грудь плоска, рост казался длинен, чему

еще и способствовала привычка горделиво поднимать голову и смотреть на всё сверху вниз. Одним словом это была отнюдь не красавица. Хороши – бесспорно и чудесно хороши – пожалуй, были только обильнейшие русые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами.

– Явился наконец, – неласково молвила Агафья Ивановна. – Ишь, шампанское притащил. Недосуг мне вино пить. Хочу съехать отсюда. Противно здесь. Собирайся!

И, повернувшись, пошла в комнату, неслышно, по-кошачьи, а вернее сказать по-тигриному, ступая своими длинными ногами.

Кое-как затворив дверь без помощи рук, ее сожитель (всякий мало-мальски опытный человек сразу угадал бы, что эти двое не супруги), насколько не обескураженный холодным приемом, весело воскликнул:

– Нельзя нам не выпить шампанского! Иначе фарту не будет! Благодаря тебе, моя крулева, я взял 840 рублей!

Он поставил бутылку и бокалы на стол и потряс вынутыми из кармана кредитками, а потом

попробовал закружить Агафью Ивановну, опять запев «Мазурку Домбровского», но сильные руки оттолкнули его.

– Сказано: недосуг мне. Складывай чемоданы, Аркадий. Мы съезжаем!

– Забудь про Аркадия, черт тебя дери! Зови меня «Тадеуш» или «Тадек», – сдвинул брови красивый господин, внезапно утратив польский выговор. – Подслушает кто-нибудь, выйдет беда.

Пожалуй, здесь надобно прерваться, чтобы объяснить отношения между моими героями, а то читатель, верно, пришел в недоумение, как это человек может сделаться из Аркадия Тадеушем, как это можно вдруг перестать быть поляком, и почему то женщина командовала мужчиной, а то вдруг он начинал ей выговаривать, да еще с «чертом».

Дело в том, что мои герои – в литературном, а отнюдь не в возвышенном значении этого слова, ибо люди они были нисколько не героические, а совсем, совсем напротив – так вот мои герои вели весьма необыкновенный образ жизни и соединяли их весьма непростые обстоятельства, притом зародились эти обстоятельства (назовем их

так) не нынче, а тому четыре года, когда Агафье Ивановне было всего осьмнадцать лет.

...Нет, я уже вижу, что начать нужно еще раньше, с самого начала, то есть с явления на свет Агафьи Ивановны, иначе читатель вовсе запутается.

* * *

Происхождение Агафьи Ивановны было неизвестно и ей самой. Она была натуральный подкидыш, ее в самом прямом смысле подкинули на крыльцо в губернском городе С., однако же подкинули очень и очень неглупо, не к первым попавшимся людям, а под двери одному господину Городищеву, человеку доброму и богомольному, к тому еще и бездетному. Городищев с супругой каждую весну ездили по дальним монастырям, просили Богоматерь дать им сына или дочь и весь город о том знал. Так что расчет безвестной роженницы был куда как хитер. Супруги приняли младенца за удовлетворение их молитв и воспитали девочку совершенно как собственное дитя, с любовью и добром.

Приемные родители и назвали кроху «Агафьей», что значит «добрая», однако с именем

обмишурились. Как говорит пословица не упомню какой нации, воспитанием природу не перешибешь. Не то чтоб девочка выросла недобра или зла, но очень уж порывиста, так что не ведала границ ни в добром, ни в злом. Однажды выбежала из дому и отдала маленькой нищенке свою любимую немецкую куклу, но в другой раз так осердилась на ущипнувшего ее гуся, что гоняла дурную птицу по всему двору, пока не настигла и не свернула ей шею, а после горько рыдала над пернатым трупом. Одним словом подчас она вела себя преглупо при том что глупа отнюдь не была, иногда поражая даже умных людей остротой мысли и меткостью суждений, но в минуту возбуждения пылкая натура будто затмевала Агафье Ивановне рассудок, побуждая к немедленному действию безо всякой заботы о последствиях. Эта пылкость ее и сгубила, именно так следует назвать случившееся с нею на восемнадцатом году жизни событие, долго потом волновавшее умы города С.

Девушка вдруг влюбилась в проезжего улана, да так безоглядно, что совсем потеряла голову и уехала с ним в самый день знакомства, чуть ли не через час после того, как впервые его увидала;

уехала, оставив старикам родителям сумбурное, закапанное слезами письмо, и больше в город С. не вернулась. С места Агафья Ивановна сорвалась в платишке, в котором была, не взяв с собою ничего кроме материнского мониста. Ах вот про что еще нужно рассказать – про монисто. Серебряное, составленное из нескольких старых монет, одна из которых была не только истертая, но и ополовиненная, монисто лежало на грудке подкидыша, под пеленкою. Наверное то была единственная ценность, принадлежавшая несчастной матери и оставленная ею малютке на память. Агафья Ивановна носила это скромное ожерелье на шее и не расставалась с ним почти никогда. Читатель несомненно обратил внимание на словечко «почти». Оно будет разъяснено в скором времени.

Страстный порыв домашней, не знавшей жизни девушки закончился тем, чем обыкновенно такие сумасбродства и заканчиваются. Улан оказался не улан, а прощелыга, бескопеечную девчонку он, натешившись, бросил, и она скатилась бы в жизненную канаву, а еще верней, зная ее характер, утопилась бы в первой же большой воде, но по случайности безутешно рыдающую на улице

Агафью Ивановну увидал проезжавший мимо купец Молошников, человек старый и распутный. «Чего сырость разводишь, красавица? Садись, я тебя вином угощу, печаль-то и пройдет», – сказал он, открыв дверь коляски, и Агафья Ивановна села, ей было все равно.

Молошников был хоть и развратник, но не примитивного, а гурманского пошиба, ему нравилось владеть не только женским телом, но и душой. Умный, повидавший на своем веку всякое, он стал приручать Агафью Ивановну, как дрессируют породистого щенка, и терпеливостью, лаской, занятым разговором добился того, что через некоторое время девушка к нему привыкла и стала считать старика единственной своей опорой. Он-то, Молошников, и придавал характеру Агафьи Ивановны окончательную завершенность, закалил его, как закаливают сталь. Старик и сам привязался к своей то ли любовнице, то ли питомице, насколько могло отдаться чувству его блазированное сердце.

Агафья Ивановна прожила со своим покровителем четыре с половиной года, и всё шло к тому, что быстро стареющий и всё чаще хворающий

вдовец на ней женится. Молошников был на ножах с сыновьями и не желал оставлять им ни копейки из своего чуть не миллионного состояния. Но надо ж такому случиться, что в самый канун венчания по интриге судьбы, ведшей с бедной Агафьей Ивановной какую-то коварную игру, из прошлого вдруг снова явился лже-улан, и всё повторилось. Словно жертва волшебной дудки сказочного Крысолова, Агафья Ивановна последовала за своим погубителем, только на сей раз не с пустыми руками, а прихватила с собой шкатулку с драгоценностями, которые в разное время дарил ей покровитель, оставив только преподнесенные женихом по случаю свадьбы рубины, любимый ее камень.

То опять был порыв, но на сей раз вряд ли любовный. Сильное чувство, увлекшее Агафью Ивановну, она и сама не сумела бы дефинировать. То ли это была тоска по недопрожитой жизни, то ли самолюбивое желание взять верх над человеком, некогда ею пренебрегшим, то ли Агафью Ивановну напугала перспектива стать добропорядочной госпожой Молошниковой и провести свой век в хоть и золотой, но скучной клетке обыденности, а скорее всего и первое, и второе, и в особенности

третье, да в придачу еще некая не поддающаяся определению тяга, какую испытывают некоторые странные натуры, заглядывая в пропасть или подходя к перилам моста.



Фактом однако является то, что теперь роли между Агафьей Ивановной и ее повторным соблазнителем переменились. Будучи ученой, она

оставила шкатулку при себе и продавала ее содержимое частями, что на первых порах обеспечило и его нежность, и его верность, а вскоре он уж и сам не мог без своей спутницы обходиться.

Читатель, конечно, заметил, что я до сих пор не называю рокового избранника Агафьи Ивановны по имени, но это потому что звали его теперь не так, как четыре года назад и в дальнейшем он неоднократно менял и свое имя, и свою презентацию. Буду называть его так, как он именовался в момент нашего рассказа – Тадеушем Тодобржецким. Поляком он однако не был, лишь нахватал польских фраз и манер, живучи в Привисленском крае. «То добрже», повторял он к месту и не к месту, из этой присказки сотворив себе и фамилию. Паспорта и подорожные он умел сооружать так ловко, что никогда не имел с бумагами никаких трудностей – в этом, пожалуй, и состоял главный из талантов «пана Тодобржецкого»; того же сорта были и остальные его таланты, обычно вознаграждаемые железными браслетами с неювелирной меж ними цепочкой.

Скоро Агафья Ивановна узнала цену человеку, ради которого дважды бросила тихую

и отлично устроенную, с ясно определенной будущностью жизнь. Он был пуст и мелок душой, кичлив

в удаче и суетлив в несчастье, жаден, а в то же время нерасчетлив в деньгах, изрядно хитер, но притом не слишком умен – словом, относился к одному из худших человеческих разрядов. Агафья Ивановна вполне презирала своего спутника, и тем не менее повсюду за ним следовала, а Тодобржецкий нигде надолго не задерживался, его катило по жизни, как оторвавшееся на полном скаку от кареты колесо. Быть может, это вечное движение без определенного пункта назначения и являлось тем опиумом, который дурманил Агафье Ивановне голову, требуя всё новых и новых доз. Сама она считала свою прикованность неизлечимой болезнью вроде чахотки, которая если уж прицепится, то непременно сведет в могилу, иногда же, в горькую минуту говорила себе: «Коли мне судьба сгинуть, то лучше уж с тем, кого не жалко».

Прихваченные с собой драгоценности через невеликое время закончились, потому что оба – и она, и ее возлюбленный – любили пожить с размахом, и Тодобржецкий (который впрочем в ту

пору был графом Орловским, а потом коммерц-советником Бланком, а потом уж не упомяну кем) по этой части был большой выдумщик. Он сиба-ритствовал с такой широтой, что в подобные минуты Агафья Ивановна им любовалась и почти что его любила.

Когда шкатулка опустела, он вернулся к обычным своим способам пропитания – за исключением одного: перестал альфонствовать, поскольку при Агафье Ивановне это стало невозможно. В самом начале их совместного путешествия разбивателю женских сердец было сказано, что, ежели он станет волокитствовать, то ему ночью, спящему, иголкой выколют глаза, и сказано так убедительно, что Тодобржецкий сделался вернейшим Ланцелотом, не глядевшим на других женщин кроме своей Гвинеvры. Прочими источниками его существования были всякого рода аферы и нечистая карточная игра. Однако, будучи наглым и хитрым, Тодобржецкий не обладал ни умом, ни достаточной ловкостью, так что некоторые его предприятия оканчивались стремительной эмиграцией, а за зеленым столом он, случалось, сам становился добычей умелых шулеров.

Так они и ездили из города в город, нигде подолгу не задерживаясь. Бывало, что вместе, представляя мужа с женой или брата с сестрой, а случалось, что и порознь, если того требовала придуманная Тодобржецким интрига. Перемещения эти были так стремительны и непредсказуемы, что Агафью Ивановну не оставляло ощущение какого-то прерывистого сна, от которого надо бы очнуться, да он никак не отпускает.

Последний раз они сорвались из Ростова, где махинатор попробовал ограбить людей, которые сами жили грабительством, да едва не попался и был принужден бежать сломя голову, без копейки и в страхе за свою жизнь. Тут-то он и сделался из железнодорожного подрядчика Аркадия Аполлоновича Крук-Круковского отставным ротмистром Тадеушем Тодобржецким.

Беглецы сделали вид, будто отправляются из Ростова на север, а сами повернули на юг, в сторону Кавказа, где новоявленный пан никогда еще не бывал, но про который слышал много обнадеживающего. Он всегда был окрылен какой-нибудь надеждой, разительно отличаясь этим от Агафьи

Ивановны, никогда не думавшей о будущем и ни на что, совсем ни на что не надеявшейся.

А теперь, когда читатель про этих двоих уже всё знает, вернемся в номер захудалого трактира к недоподслушанному разговору.

Хотя нет. Надобно еще объяснить причину, по которой Агафья Ивановна находилась в столь скверном расположении духа и почему желала немедленно съехать.

* * *

Получасом ранее с моей героиней приключилось странное происшествие, выбившее ее из обычного полусонного, а в то же время как бы и воспаленного состояния, какое отчасти знакомо всякому, отболевшему перемежающейся лихорадкой.

Тодобржецкий сидел в трактирной зале, ведя карточную игру, которая была копеечной, поскольку залучить в партнеры ему удалось только двух мелких проезжающих, одного разорившегося помещика и темрюкского фельдшера, ставивших на кон по четвертаку, а то и по гривеннику. Деньги однако же были очень нужны, поскольку у ростовских эмигрантов не осталось ни гроша, так что и за

постой заплатить было нечем. В подобных обстоятельствах, увы нередких, Агафья Ивановна выдавала сообщнику свое серебряное монисто, которое обладало чудесным свойством привлекать «фарт», во всяком случае она свято в это верила и не имела случая разочароваться в своем убеждении.

Тодобржецкий поставил ожерелье в пять рублей и выиграл, но потом дело пошло вяло. Партнеры скаресли, а фельдшер очень уж пристально следил за руками оборотистого поляка. Дело Агафьи Ивановны было вовлечь в игру какого-нибудь «гусака», то есть человека с деньгами и притом простодушного. Она отлично умела и распознавать характеры, и выступать в роли сладкоманящей Сирены.

Сидя в одиночестве за столом, Агафья Ивановна оглядывала помещение, не обнаруживая никого пригодного, как вдруг со двора вошел молодой человек с оживленным, покрасневшим лицом в небольшой пушистой бородке, и первое, что отметил взгляд наблюдательницы, был изрядный пук денег, который вошедший засовывал в карман дорожного сюртука, несколько потертого,

но несомненно сшитого превосходным портным – в подобных вещах Агафья Ивановна, любившая хорошо одеваться, разбиралась.

Проезжающий сел за соседний стол, потребовал чаю и закуски, да зачем-то сообщил половому звонким голосом, что ни вина, ни водки он не пьет.

Из-под опущенных ресниц она стала подсматривать за ним, зная, что случится дальше. Агафья Ивановна обладала даром читать лица, а это было как раскрытая книга. В ясных глазах, в высоком без морщинок лбе, в рисунке губ, видневшихся из-под молодых усов, угадывались доброта, жизненная неопытность и еще качество, которого сама Агафья Ивановна была начисто лишена, которое сразу чуяла и по которому иногда тосковала. У нее для этого качества и слово было придумано: равнодушные – нечто совсем иное, чем равнодушие. Равнодушен тот, кого ничто происходящее с другими не тревожит; равнодушен же человек, обладающий душой, которая никогда не сбивается с ровного курса, и курс этот неизменно направлен к чему-то простому и доброму. Равнодушный человек может быть нескладен или глуп (и это даже часто так), может ошибаться в поступках, но всякий раз

сверяется душой по своему безошибочному компасу и снова выправляется, его не собьешь. Такая жизнь казалась Агафье Ивановне скучной, *обыкновенной*, ибо в ней самой обыкновенность наовсе отсутствовала, а всё же ее отчего-то интриговал столь непостижимый образ существования.

Этот будет легкой добычей, сказала себе Агафья Ивановна, отогнав шевельнувшийся в сердце сантимент. И, конечно, не ошиблась.

Минуту-другую спустя сосед ее заметил и уже не сводил глаз, пренаивно, по-детски, прикрыв их ладонью.

– Что украдничает? – рассмеялась Агафья Ивановна. – Хороша я тебе кажусь?

Он залился краской, но не оробел, а тихо ответил:

– Очень хороша.

Попался, внутренне усмехнулась она и спросила:

– Не возьмешь в толк, кто я?

Странно ведь, чтобы прилично одетая дама сидела в трактире одна.

И тут он сказал странное:

– Не могу понять, *какая* вы. То мне кажется, что очень плохая, а то, наоборот, что очень хорошая.

Это вот и было то самое, что Агафья Ивановна называла «равнодушием» и к чему относилась с несколько пугливым любопытством. Насмешничать ей расхотелось.

А молодой человек тут же еще и сказал такое, отчего ей сделалось не по себе.

– Я вижу, что вы в беде. – Волнуясь, запнулся. – Почему вы одна? Что с вами? Я помогу вам, я защищу вас, только скажите как.

Сердце у Агафьи Ивановны несколько стиснулось, за что она на себя осердилась и предприняла попытку перевести беседу в смешную сторону.

– Он меня защитит, вы только послушайте! А сам телятя телятей, – со злым смехом молвила она непрошеному защитнику, и он жалобно сморгнул, в самом деле сделавшись похож на теленка.

Однако сердце всё никак не разжималось, с ним творилось нечто Агафье Ивановне непонятное, и еще очень хотелось оказаться к молодому человеку поближе. Противиться своим порывам Агафья Ивановна не привыкла, но вести дальше бередящий разговор было опасно – чем именно опасно, она не знала, но остро это чувствовала.

– Хочешь, чтоб я к тебе пересела? – спросила Агафья Ивановна. – Только уговор. Ни о чем не говори, и я не буду.

Он так обрадовался, что вскочил и бросился пододвигать стул, спросил ее имя, хотел назваться, но уж этого ей определенно было не нужно.

Она сказала свое имя.

– А себя не называй, мне ни к чему. И всё, молчи.

Он послушно сел и умолк.

Расположившись напротив, Агафья Ивановна рассматривала своего визави недолго. Открытая книга вблизи рассказывала о себе то же самое, что на расстоянии. Но взор видел не лицо другого, незнакомого человека, а другую, незнакомую жизнь, внезапно открывшуюся перед Агафьей Ивановной. Она увидела – очень зримо, хотя это несомненно был сон наяву – какую-то залитую солнцем веранду, луч блеснул на медном боку самовара, слышалось мирное звяканье ложечки о чашку, и ощутила состояние, какого в настоящей жизни никогда не испытывала: покой, умиротворение, тихую нежность. «Неужто это и есть обыкновенность, – промелькнуло в оцепенелом уме

Агафьи Ивановны. – Отчего же я всегда так ее боялась?».

И кто-то сидел там, на призрачной веранде противу Агафьи Ивановны, кто-то едва различимый в радужном переливе воздуха, кто-то, на кого и устремлялась нежность.

Почему-то привидевшийся сон, вполне безобидный, ужасно испугал ее. Усилием всего существа Агафья Ивановна отогнала наваждение и разозлилась на человека, который невольно породил этот фантом.

– А ну тебя! Тебя и нет вовсе! Ты мне примерещился!

Виновник ее гнева растерянно заморгал, отчего лицо его сделалось глупым.

– Пойдите! – залепетал он. – Я чувствую, я знаю, что вы в беде! Неужто я ничем не могу вам помочь? Клянусь, я...

И опять зрение Агафьи Ивановны будто затуманилось радужной дымкой, а сердце сжалось. Был однако верный способ избавиться от навязчивого дурмана. К этому средству она и прибегла.



Сказала, что, коли он хочет ей помочь, то пусть отыграет дорогое ее сердцу серебряное монисто. И показала на стол, за которым шла игра, на свое ожерелье, лежавшее под локтем у Тодобржецкого. Да еще, чтоб принизить и обезоружить трепет в сердце, пообещала, что в благодарность полюбит своего спасителя – пусть считает ее продажной. Всё это она проговорила будто в бреду,

скаля зубы в глумливом смехе, а потом сразу встала и пошла прочь. На пороге обернулась, увидела, что испугавший ее молодой человек, так и оставшийся безымянным, уже стоит перед Тодобржецким, и поднялась в номер. Ее дело было исполнено.

* * *

Полчаса спустя, когда Тодобржецкий вернулся с шампанским, чтобы отпраздновать выигрыш, Агафье Ивановне сделалось тошно – и при виде довольной физиономии ее сообщника, и еще более от самой себя.

Подобно убийце, стремящемуся поскорей покинуть место кровавого преступления, она ощутила неудержимое желание уехать, и такое омерзение, что не захотела даже пригубить шампанского, хотя была до него большая охотница.

– Да что за стих на тебя нашел? – изумился Тодобржецкий. – Куда мы в такую пору? Нам к ночи не доехать до следующей станции.

– Так будем ехать до рассвета. Собирайся!

По тону Агафьи Ивановны было ясно, что от своего сумасбродного решения она не отступится, Тодобржецкий хорошо знал свою подругу.

– Как хочешь, а вино я выпью, – объявил он. – Видишь, его нельзя не выпить.

Он хлопнул пробкой, вскипела пена, и теперь уж точно шампанское стало нельзя не выпить.

– Хочешь, чтоб мы быстрее уехали – помогай, – сказал лукавый лже-поляк, выпив, и тут же наполнив вином бокалы. У него был свой расчет. Начав пить вино, Агафья Ивановна обычно не могла остановиться; за одной бутылкой последует другая, а там отправление само собою отложится до утра.

– Черт с тобой. Допьем и едем.

Она залпом осушила бокал и очень вдруг опьянела, чего с нею никогда не бывало. Щеки ее запылали, губы разгорелись, сверкавшие глаза посоловели.

– Он спасти меня хотел, а я его обворовала, – пробормотала Агафья Ивановна. – Себя обворовала. Я воровка у самой себя. Это, я чай, хуже самоубийцы... – И встрепенулась. – Лей еще, что ждешь?

Она выпила и в другой раз, и в третий, однако вопреки надеждам Тодобржецкого, не вошла во всегдашнее оживление, а сделалась еще беспокойней.

– Едем же, едем... – повторяла Агафья Ивановна, зябко ежась. – Иль я одна уеду, ты меня знаешь.

Пока на конюшне запрягали, пока приторочивали к седлам чемоданы, она нетерпеливо ждала подле ворот, глядя на освещенные поздним солнцем невысокие горы, к которым вела дорога.

Мимо прогрохотала арба. Рыжий горец в косматой папахе, гортанно покрикивая, погонял лошадь. Видно хотел дотемна вернуться в свою деревню. Агафья Ивановна на него едва взглянула, ее мысли были далеко, губы шептали невнятное.

– Кабы я не любил тебя больше жизни, право, не стал бы терпеть твоих вскидок, – ворчал Тодобржецкий, помогая спутнице подняться в седло. Он много и краснó говорил о любви, знал, что с женщинами так должно, но имел самое смутное представление об этом душевном состоянии. Впрочем Агафья Ивановна своего кавалера не слушала.

Усевшись по-амазонски, она дернула поводья, прикрикнула, и лошадь взяла легкой рысью. Ездить верхом Агафью Ивановну когда-то обучил ее покровитель Молошников, он был лошажник.

Хорош в седле был и «пан Тадеуш», некогда служивший в драгунах и выгнанный из полка за нечистую игру.

Лошади были славные, Тодобржецкий выиграл их у одного барышника в Азове.

Ехали быстро и вскоре достигли неширокой, но бурливой и, видно, глубокой речки. Здесь, на мосту, всадница остановилась и долго глядела – неотрывно, пристально – вниз, на крутящиеся водовороты, словно увидела в них нечто притягательное.

Прискучив ожиданием, Тодобржецкий наконец решительно взял ее лошадь за повод и потянул за собой.

– Поторопимся, вечер скоро. В пятнадцати верстах, на полдороге к Темрюку, деревня. Будешь спать на соломе, коль ты такая полоумная. Ночью через горы я не поеду.

Через полчаса к дороге с обеих сторон подступились холмы, постепенно делаясь выше. Тракт петлял между ними, низкое солнце теснину не освещало, стало сумеречно. Встречных не было. Об эту пору все проезжающие уже добрались туда, куда следовали.

– Поедем резвей. Нам еще ночлег искать, – сказал Тодобржецкий, хмурясь на вечерние тени. – Всё твои капризы! Зачем только я отдал тебе свое сердце!

– То сулился жизнь за меня положить, а то разнюнился из-за пустяков, – неласково отвечала Агафья Ивановна. – Не нравлюсь – разъедемся хоть нынче же. Пожалуй, ошиблась я. Лучше сгнуть одной, чем с таким, как ты.

– Как ты можешь! – воскликнул он, обеспокоенный таким поворотом. – Говорил и сызнава повторю: только мигни – на смерть ради тебя пойду! Ты единственное сокровище всей моей жизни, кохана! Однако ж поспешим.

Он толкнул конские бока каблуками и поскакал вперед, к узкому ущелью.

Поморщившись на «кохану» – словечко, которое Тодобржецкий ввернул, увлекшись ролью пылкого поляка и которым испортил весь эффект, Агафья Ивановна тоже поторопила свою буланую.

Впереди раздался конский храп, слышался крик «Пся крев!».

Въехав в расщелину, всадница увидела картину, от которой ахнула и натянула поводья.



Двое людей в бараньих шапках с обеих сторон держали лошадь Тодобржецкого под уздцы. Люди эти показались Агафье Ивановне как-то неестественно широки и квадратны, потому что одеты они были в бурки с прямыми плечами. Тот, что был справа, освещенный косым лучом, скалил желтые зубы; один глаз его, вытекший или выбитый, слипся щелью, другой горел свирепым блеском. Еще

страшней был второй, скрытый в тени и оттого плохо видимый, лишь посверкивала сталь занесенного кверху огромного кинжала.

Тодобржецкий всплескивал руками, будто отмахивался. Одноглазый, должно быть очень сильный, взял его за локоть и без видимого усилия выдернул всадника из седла, так что Тодобржецкий ухнул наземь, простонал, хотел было подняться, но крепкая рука ухватила его за шиворот, не дала встать с колен. Второй разбойник – а это вне сомнения были разбойники – удерживал отпрянувшую лошадь.

Пораженная зрелищем Агафья Ивановна не сразу разглядела третьего. Он подступился к ней сбоку и положил ладонь на морду буланой. Та дернула ушами и задрожала.

Есть люди, каждым своим движением источающие властность, которую безошибочно чувствуют животные. Таков был и этот человек, глядевший на Агафью Ивановну снизу вверх. Увидев его, она больше на остальных не смотрела.

Лицо показалось ей знакомым. В следующий миг, по рыжей бороде и папахе, она узнала горца, что давеча обогнал их на арбе. «Вот и смерть

моя» – такова была мысль, мелькнувшая у Агафьи Ивановны, когда она посмотрела в пристальные, какие-то мертвенно спокойные глаза рыжего, и ощутила не ужас, а странную покорность, будто происходило то, что и должно было случиться, будто она всегда внутренне знала, что ее жизнь оборвется вот так, на узкой дороге, меж тесно сдвинувшихся скал.

Горец сказал что-то короткое, квохтущее – не Агафье Ивановне, а лошади, и буланая застыла, как вкопанная. После, не глядя более на всадницу, главарь подошел к коленопреклоненному Тодобржецкому, положил руки на узкий ремень, с которого свисал небольшой кинжал в нарядных ножнах, и проговорил одно-единственное слово: «Деньги», произнеся все звуки очень твердо – «дЭНГи».

– Вот, извольте, – быстро ответил Тодобржецкий, вынимая из кармана и протягивая бумажник, в котором, знала Агафья Ивановна, была только мелочь, выигранная у фельдшера и помещика.

Заглянув в бумажник, рыжий отшвырнул его в сторону, кивнул одноглазому, и тот, обхлопав

Тодобржецкого, вынул пук кредиток. Предводитель сунул пачку за пазуху.

– Офыцэр? – спросил он, ткнув пальцем на гусарскую куртку пленника. Слово прозвучало будто бранное.

– Нет-нет, я статский! – срывающимся голосом воскликнул Тодобржецкий. – Я никогда не уча.. не участ... (он никак не мог выговорить заплетающимся языком) не участвовал в войне с вами!

Главарь сказал что-то короткое одноглазому. Тот пошарил в карманах Тодобржецкого, достал дорожную.

– Тодо... – начал читать рыжий, а дальше трудную фамилию одолеть не мог.

Подняв глаза от бумаги, спросил:

– Тодо, она твоя жена? – Ткнул пальцем через плечо на Агафью Ивановну, не оборачиваясь. – Защищат будэш?

– Она мне никто! Делайте с нею что хотите! – быстро ответил Тодобржецкий. – Только не убивайте!

– Маладэц, Тодо, – хрипло рассмеялся рыжий, стал снова читать. – Ротмыстр? Офицэр.

Дальше читать он не стал.

Бросил подорожную, подступил к пленнику, мгновение помедлил, словно примериваясь, а потом вдруг обхватил его рукой, так что голова Тодобржецкого оказалась у него под мышкой, выдернул из ножен кинжал и ловким скользящим движением провел из стороны в сторону. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана. Раздалось бульканье, захлебнувшийся крик, и горец отступил на шаг, а зарезанный повалился ничком, забил ногами.

Убийца воткнул испачканный кинжал по рукоять в землю, потом наклонился, перевернул умирающего навзничь. Глаза Тодобржецкого были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и всё лицо были сморщены и искажены судорогой, из рассеченного горла вырывался свист. Рыжий подставил пальцы хлещущей крови. Затем поднял обогранные ладони кверху, словно показывая их небу.

И обернулся к Агафье Ивановне.

Очнувшись от оцепенения, она дернула поводья, но лошадь не шелохнулась. Тогда Агафья Ивановна спрыгнула, не желая, чтобы и ее сволокли с седла.

– Убивай, черт с тобой, – сказала она прибли-
зившемуся горцу.

– Жэнщины не убываю, – ответил тот, протя-
гивая красную руку к ее груди.

Она крикнула:

– Ну, этого не будет!

Увернулась, побежала, но не прочь, зная, что
догонят, а вперед, туда, где уже не шевелился уби-
тый. Выдернула из земли кинжал, приставила себе
к сердцу.

– Убью себя, а не дамся!

Рыжий глядел на нее с гадливостью.

– Ты что подумала? Русскы жэнщина не
жэнщина, а тьфу! Хочэш резать сэбя – рэж.

Из Агафьи Ивановны вдруг разом вышла сила.
Пальцы разжались, кинжал выпал.

Горец опять подошел, опять протянул к ней
окровавленную руку, взялся за серебряное мони-
сто, порвал цепочку.

– Бери серьги, всё бери! – взмолилась Агафья
Ивановна, сдергивая перстни и вынимая жемчуж-
ные сережки. – Только монисто оставь! Какая ему
цена? Это память о матери!

Он не слушал. Сорвал целые монеты. Той, что была обломана, и почерневшей цепочкой побрезговал – отшвырнул.

Подобрал кинжал, вытер об платье Агафьи Ивановны, словно она была предмет, а не живой человек. Махнул своим и пошел прочь, не оглядываясь.

Двое остальных взяли под уздцы лошадей, повели.

Минуту спустя Агафья Ивановна осталась на дороге одна. Посмотрела на мертвое тело, затрепетала и, поддавшись неудержимому порыву оказаться как можно дальше от этого места, побежала в сторону противоположную той, куда удалились разбойники.

Так она бежала, спотыкаясь, но ни разу не упав, довольно долго и всё бормотала «жива, жива, жива». Существо ее переполнялось сильным ощущением, которое верней всего выражалось этим простым словом.

А потом внезапно остановилась.

– Жива? – растерянно повторила она, и сердце ее сжалось, охваченное внезапной тоской.

Часть третья

ЧЕГО



ЗАПОЗДАЛОЕ

1.

– ЧЕ-ГО? – раздельно, повывисив задрезжавший раздражением голос, переспросил Климентьев. – Опять полоскать горло этой дрянью? Ну уж нет. Избавь меня, пожалуйста, от этого счастья.

Какая неприятная у него привычка, когда он не в духе, произносить слова по-писаному, подумала Антонина Аркадьевна. Не «чево», а «чеГО», не «пожалста», а «пожалУЙста», не «щастье», а «СЧастье».

– Но Архип Семенович велел каждые два часа...

– Нету больше Архипа Семеновича! Приказал мне долго жить, однако же долго жить будет он, а не я. – Муж оскалил зубы в злой улыбке, но смеяться поостерегся – это могло вызвать приступ кашля. – Отлично его понимаю. Не хочет прослыть врачом, у которого мрут пациенты.

– Зачем ты так? Архипу Семеновичу просто понадобилось уехать, у него в Харькове дочь выходит замуж. Он передал тебя коллеге. Все говорят, этот Картузов превосходный доктор.

– Стало быть, *le roi est mort, vive le roi*. Посмотрим, что он мне пропишет. Врачи вечно отменяют рецепты своих предшественников. Это потому что каждый получает свою долю от собственного аптекаря. А теперь, Антонина, ради бога, оставь меня. Ты же видишь, я пытаюсь работать.

Климентьев повернулся на крутящемся табу-рете, и немедленно – Антонина Аркадьевна знала – забыл о ее существовании. Так происходило всякий раз, когда он погружался в музыку.

Было одиннадцать часов утра — время, когда медлительное раннеоктябрьское солнце после прохладной уже ночи прогрело золотистый воздух и можно было распахнуть окна без опасения

простудить больного. Этим Антонина Аркадьевна и занялась, стараясь производить как можно меньше скрипа, чтобы не отвлекать мужа.

Аккуратно и даже нарядно одетая, с подколотыми кверху пепельными, как было написано в одной лестной рецензии, «дымчатыми» волосами, считавшая обязательным всегда, даже здесь, выглядеть безупречно, она с усилием, долго поворачивала своими тонкими, слабыми пальцами тугие шпингалеты, и окна все-таки скрипели, отчего она всякий раз замирала.

Рояль рокотал и звенел, срывался, опять приступал, как будто мелодия силилась взбежать по лестнице, скатывалась со ступенек и начинала подъем сызнова.

У Климентьева, знаменитого композитора, была последняя стадия чахотки. Сюда, на кавказское побережье, они переехали месяц назад из Ялты, где у них была дача, но Константином Львовичем овладела обычная для чахоточных непоседливость и мистическая вера, что где-то в ином месте будет дышаться легче. «В Ялте пахнет трупом, – говорил больной, – а я пока еще не труп». Они стали собираться в Швейцарию, но знакомый

рассказал, что недалеко, под Таманью, есть курорт, где осенью совершенно женевский климат, и Климентьевы перебрались из просторного и удобного, с налаженным бытом, собственного дома на съемную квартиру в захолустном Ак-Соле, где Антонине Аркадьевне приходилось мыть ее чудесные волосы водой из колодца и ездить за чаем и шоколадом в город. Муж уверял, что здесь ему лучше дышится и пишется, но первое было неправдой, а второе Антонину Аркадьевну только пугало. Климентьев писал сонату, которая обещалась стать великой и которую он называл «Лебединой песней», говоря: дай Бог закончить, и тогда я сам скажу «ныне отпускаеши». Антонина Аркадьевна с ужасом следила за тем, как листы покрываются нотами; однажды ей вспомнилось вычитанное где-то название «Книга Жизни», и нотная тетрадь казалась ей этой роковой книгой, в которой вот-вот закончатся страницы.

Рояль доставили из Ялты – пароходом, а потом на гужевой телеге. Он выглядел в деревенской горнице инородным предметом, как сверкающий лаком гроб в жилой комнате.



Впустив в дом свежий воздух, Антонина Аркадьевна тихонько налила себе кофе из подогреваемого спиртовкой кофейника, села в углу и стала слушать, как пальцы больного то нервно, то нежно, то сердито извлекают из рояля звуки, заставлявшие волноваться ее сердце.

Больше всего в жизни Антонина Аркадьевна любила музыку. Она была певицей, обладавшей

небольшим, но красивым, так называемым «камерным» голосом, и имела в Москве немногочисленных, но преданных поклонников, устраивавших ей оvation и даривших цветы. По-настоящему счастлива она бывала, только когда пела на сцене, чувствуя, как ее несет волна музыки и как из зала изливается обожание публики. В Ялте, подле медленно умирающего мужа, и особенно здесь, в полубезлюдном Ак-Соле, она очень тосковала по Москве.

Музыка оборвалась в ту секунду, когда Антонина Аркадьевна отпила из чашки. В тишине раздался звук глотка, совсем негромкий, но Климентьев с его чутким слухом обернулся. Его до голубизны белое лицо исказилось раздраженной гримасой.

– Совершенно необязательно пить кофе с таким значительным видом! – воскликнул он сердито. – И потом, я чувствую спиной твой взгляд, он мне мешает!

Оскорбленная словами про «значительный вид», Антонина Аркадьевна вспыхнула, но в следующий миг сказала себе: он плохо себя чувствует и просто срывает это на мне.

– Хорошо, милый, я уйду.

Испытывая удовлетворение от собственной кроткой терпеливости, она встала, чтобы выйти, но подумалось горькое: он меня не любит и не ценит, он живет только своим несчастьем и музыкой, для меня в его душе места не остается. Следующая мысль была еще неприятней. «Но ведь и я его не люблю, – вдруг сказала себе Антонина Аркадьевна с безжалостной трезвостью. – Я люблю его как композитора, творящего великую музыку, но как человек он мне не близок, а как мужчина даже стал неприятен».

Сама испугавшись мысли, показавшейся ей предательством, она виновато обернулась от дверей и увидела, что муж смотрит на нее с жалкой улыбкой, совсем ему не свойственной.

– Прости меня, Цапа. Я сегодня не первой свежести...

У нее дрогнуло сердце. Он называл ее этим прозвищем в минуты нежности. Цапой звали кошку в московском доме, где они познакомились, и Климентьев потом шутил, что Антонина Аркадьевна закогтила его своими цепкими лапками. Давно он не обращался к ней так.

– Тебе не нужно извиняться. Хочешь бранить меня – брани, хочешь гнать – гони. Я всегда буду недалеко, чтобы быть рядом, если понадобится, – быстро сказала она и сама почувствовала, что это прозвучало высокопарно, а Климентьев не выносил того, что он называл «драмой».

Он и в самом деле поморщился, его лицо стало обычным, насмешливым.

– На случай, если я тебе нагрублю и придется каяться, я заранее приготовил искупительный дар. Ты знаешь мою предусмотрительность. Вчера купил на базаре, за полтинник.

Делать обыкновенные, скучные подарки Климентьев считал пошлостью и если преподносил ей что-то (такое случалось нечасто), то непременно какую-нибудь смешную или странную чепуху. Однажды подарил старинную дамскую блоховку – «ловить игривые мысли».

Довольная, что муж больше не сердится, заранее улыбаясь, Антонина Аркадьевна вернулась к роялю.

Климентьев достал из кармана бархатной домашней куртки что-то маленькое, тихонько

звякнувшее. Это была цепочка, на которой висела половинка стертой серебряной монеты.



– Преклони главу, о супруга, – торжественно сказал Климентьев. – Носи сей знак до скончания дней и помни о второй своей половине.

Антонина Аркадьевна поняла: он хочет довести «драму» до абсурда, чтобы выставить ее

эмоциональность в смешном свете, и изобразила улыбку.

Он процитировал из Пушкина:

– Развеселились мы. Недолго нас покойники тревожат.

Увидев, что ее это покорило, засмеялся. Смех перешел в кашель, долго его не отпускавший. Не ранее чем через минуту, обессиленный, Климентьев украдкой посмотрел на салфетку, которой прикрывал рот, и быстро спрятал ее в карман.

– Поменьше страха во взоре, Антонина! – зло сказал он. – Я же знаю, чего ты больше всего боишься. Что я умру у тебя на руках. Не бойся. Когда я почую, что скоро третий звонок, я уеду, как уходит от стаи подыхающий зверь. Душераздирающих прощаний не будет, я просто исчезну и всё.

– Это несправедливо, нечестно! – вскричала она со слезами на глазах и, чувствуя, что сейчас все разрыдается, выбежала во двор.

Там, сморкаясь в платок, она в сотый раз сказала себе: он мучает меня, потому что мучается сам, надо делить с ним муку и не роптать.

Снаружи было совсем не так, как в доме. Светило деликатное осеннее солнце, из палисадника

доносился запах гелиотропов, вдали посверкивало море, словно находившееся выше берега, и слезы высохли. Антонина Аркадьевна стояла, зажмурившись, впитывая тепло и свет, ей хотелось ни о чем не думать, а просто ощущать жизнь.

Послышался скрип колес, звяканье сбруи. По улице ехала городская коляска. В ней, обмахиваясь соломенной шляпой, сидел широкоплечий человек в холщовой блузе и вертел головой.

– Стой! – громко сказал он извозчику, глядя на высокие подсолнухи, торчащие над плетнем. – Подсолнухи. Должно быть, здесь.

Он спрыгнул на землю. По саквояжу в руке Антонина Аркадьевна догадалась, что приехал новый доктор.

2.

Картузов, как коротко представился врач, лишь после вопроса об имени-отчестве назвавшийся Егором Фомичом, очень не понравился Антонине Аркадьевне своей невоспитанностью. Моя в тазике крепкие, хищно быстрые руки, он тихо насвистывал, будто был в комнате один. Спрошенный, не утомился ли он дорогой, лишь дернул

подбородком, как если бы отгонял муху. Вместо ответа сказал: «Мой загородный визит стоит семь рублей плюс извозчик. Вас предупредили?».

Весь он был какой-то налитой, будто накаченная до предела велосипедная шина, загорелый и обветренный до картофельного оттенка, и пахло от него не так, как пахнет от докторов, не лекарствами, а ветром и полынью.

Перед осмотром Картузов нацепил на нос стальные очки и только теперь сделался хоть немного похож на врача. Больного он щупал, простукивал, прослушивал бесцеремонно, словно имел дело с неживым предметом. Отрывисто давал приказания: «Спиной... Дышать... Не дышать... Левую руку вверх... Покашлять...».

Видя, что муж еле сдерживается, Антонина Аркадьевна нервничала.

В конце концов Климентьев, даже голым по пояс сохранявший надменность, язвительно спросил:

– А позвольте узнать, вы называете себя не «Георгием», а «Егором» из принципиальных соображений? Обозначаете близость к народу?

– Как в детстве звали, так и зовусь, – рассеянно ответил Картузов, зачем-то разглядывая синеватые ногти больного. – Мой батя был лавочник, до двадцати лет состоял в крепостном звании... Горловые кровотечения уже начались?

– Нет-нет, упаси боже, – быстро сказала Антонина Аркадьевна, чтобы муж не отпустил еще какую-нибудь колкость. – Есть кровохарканье, но Архип Семенович говорил, что оно должно прекратиться.

– Какое там прекратиться. – Неприятный человек хмыкнул. – Вы вот что, милостивый государь. Если хлынет кровь, перво-наперво, не паникуйте. У некоторых мнительных больных от испуга случается сердечный припадок, а этого нам с вами не надобно. Делать нужно вот что...

Он обернулся к Антонине Аркадьевне, но Климентьев напряженным, тонким голосом воскликнул:

– Как вы смеете, черт бы вас побрал! Я вам что, гимназистка? Забирайте свой саквояж и немедленно, вы слышите, немедленно...

Дальше произошло страшное. Слово «немедленно» перешло в бульканье, у Климентьева

выпучились глаза, а потом и губы, меж которых ручьем хлынула темная кровь и полилась по подбородку.

Антонина Аркадьевна пронзительно вскрикнула.

– А вот и оно. Очень кстати, что я здесь, – спокойно произнес Картузов, снимая и пряча очки. – Перестаньте кричать. А вы, сударыня, делайте что говорю.

С этими словами он крепко взял за локоть больного, который тщетно закрывал рот ладонью – меж пальцами всё текла кровь, и потащил к дивану.

– Сесть. Полуоткинуться на спинку. Сесть, я сказал! Не ложиться! Эй, вы! – Полуобернулся к Антонине Аркадьевне. – Рукомойный тазик. Растворите в кувшине с водой две столовые ложки соли и принесите.

Она заметалась по комнате, не зная, какое указание выполнить раньше, и Картузов показал пальцем на тазик.

Минуту спустя Климентьев то глотал из кувшина, то выплевывал воду. Сначала почти красная, постепенно она становилась светлее. Антонина

Аркадьевна трясущимися руками разогревала самовар – ей было велено приготовить грелку.

– Приступы кровотечения будут случаться всякий раз, когда туберкулезный процесс разрушает более или менее крупный кровеносный сосуд, – говорил доктор деловито и буднично, от чего Антонине Аркадьевне стало немного спокойней. – Это на данной стадии нормально. Держите наготове кувшин с подсоленной водой – на подоконнике, где нагревает солнце. Самовар всегда должен быть на парах, грелка рядом. После того как извергнутая кровь выйдет, можно лечь. И попить микстуру, которую я выпишу.

– Сколько? – спросил Климентьев едва слышным голосом, боясь, что снова хлынет кровь. – Сколько времени мне осталось?

– А это в значительной степени будет зависеть от вашего поведения и настроения. Не валяйте дурака – не утомляйте себя физическими нагрузками и самозапугиванием, тогда еще поживете. Так. Теперь на спину. Подушек сюда, побольше! Грелку – в ноги, – приказал он Антонине Аркадьевне. – Сейчас я накапаю лауданума, пусть час-другой поспит.

– Умоляю, не уезжайте, побудьте еще, – прошептала Антонина Аркадьевна, когда муж, выпив лекарство, почти сразу заснул, скорбно смежив веки и сделавшись похож на мертвеца, отчего ей стало страшно.

– В сущности ничего интересного уже произойти не должно, – пожал плечами Картузов, но посмотрел на ее жалко моргающие глаза и вздохнул. – Ладно. Однако извозчик столько ждать не будет, придется его отпустить. Как я потом вернусь в город?

– Я найду, я договорюсь, – обрадовалась она. – И вам заплачу за ваше время. Вдвое!

Картузов сдвинул густые брови, и на лбу образовалась складка.

– Я вам не прислуга. У меня тариф. Заплатите, сколько было сказано: семь рублей плюс рубль извозчику, который меня привез. Если хотите, можете дополнительно сделать пожертвование в кассу помощи ссыльным.

– Каким ссыльным? – спросила Антонина Аркадьевна, и он посмотрел на нее, как смотрят на слабоумных.

– Которых сослали. В нашем царстве-государстве пять тысяч ссыльных политических, разве вы не знали?

– Нет.

– Этого не знать стыдно. Порядочные люди собирают для ссыльных средства. Даже в Тамани, где порядочных людей блошка да мошка, да третья вошка.

Антонина Аркадьевна никогда не слышала такого выражения и невольно улыбнулась – врач произнес поговорку на простонародный лад, получилось смешно.

– Хорошо, я буду вошкой.

Она сходила за деньгами, принесла двадцать рублей.

Картузов стоял у окна, глядя на улицу.

– Что же, у вас в Ак-Соле сейчас много отдыхающих? – спросил он, кивнув на проезжавшую мимо коляску. Там сидел какой-то господин в котелке, надвинутом от яркого солнца на самые глаза.

Пролетка замедлила ход. Извозчики, должно быть, знакомые между собой, о чем-то коротко потолковали, и господина в котелке повезли дальше.

– Нет, почти никого, – ответила Антонина Аркадьевна. – Кроме нас только две семьи. Это верно к кому-то из них. Вот, прошу. Это ваш гонорар и взнос в кассу.

Он сунул купюры в карман, не поглядев и не поблагодарив.

– Пойду отпущу повозку. И вот еще что. Где тут у вас латрина?

Сказано было без конфузливости, обычно сопровождающей этот вопрос у интеллигентных людей.

Сконфузилась, наоборот, Антонина Аркадьевна.

– Во дворе, за домом. И рукомойник там. Здесь ведь деревня.

– А я думал тут Версаль, – засмеялся он и вышел, почему-то взяв с собою саквояж.

«Как просто и естественно он спросил про латрину, – подумала Антонина Аркадьевна. – Он не грубый, как мне вначале показалось, он естественный – вот верное слово. Все, кого я знаю, да и я сама, мы вывернутые и вымороченные, вечно что-то из себя изображающие, а Картузов простой и ясный, как природа. В природе ведь нет ни

доброты, ни деликатности, она равнодушна к смерти и страданию, но она дарит жизнь, она и есть жизнь. Должно быть, этот человек не станет, как мы с Константином, спорить из-за Ибсена или «Крейцеровой сонаты», для него это бессмысленное сотрясение воздуха. Он занимается очевидными, несомненно полезными вещами. Лечит больных, собирает деньги на ссыльных. Это и есть настоящая жизнь. А где настоящая жизнь, там и настоящее счастье».

И ей тоже захотелось заниматься чем-нибудь несомненным и полезным, кого-нибудь спасать или кому-то помогать, вставать не в десятом часу, а на рассвете, ехать по спешным, нужным делам, подставляя лицо ветру и солнцу, безо всякой заботы о том, как это отразится на коже.

Она вышла во двор, чтобы не тревожить сон больного, и стала ждать Картузова в беседке. Вот он показался из-за угла, прижимая саквояж локтем и вытирая платком мокрые руки. Антонина Аркадьевна его окликнула, он подошел.

– У вас перстень, – удивилась она, заметив, как на его руке блеснула белая искорка. – На вас непохоже.

Обыкновенно она не стала бы говорить такое малознакомому человеку, но ей сейчас хотелось быть простой и естественной. Удивилась – спросила, и ничего особенного.

– Да, носить кольцо глупо, я знаю. Но тут одна история. До того как перевестись сюда, я работал в уезде, в Темрюке...

Картузов сел на скамейку, не спрашивая позволения достал из дешевого латунного портсигара папиросу, стал раскуривать. Антонине Аркадьевне понравилось и это – что обошелся без вежливого вопроса, можно ли закурить. Отчего же нет, если это не помещение, а беседка?

– Почему вы не живете в большом городе? – спросила она, воспользовавшись паузой. – Ведь вы превосходный врач, это видно.

– Большие города для меня... бесполезны, – чему-то усмехнулся он. – Так про перстень. В Темрюке был у меня один безнадежный раковый больной. Старик, местный учитель. Долго умирал, мучительно. Но до последнего на что-то надеялся. Знаете, это отличие раковых от чахоточных. Чахоточные из-за нехватки воздуха пессимистичны, они будто бы умирают раньше смерти, а раковые,

наоборот, всё хватаются за надежду, верят в чудесную ремиссию, и ведь иногда, редко, такое случается... Мой пациент тоже до последнего оставался бодр. Хороший был старик, не боялся смерти. Жалел только, что неумно, робко прожил. И вот однажды он мне говорит, спокойно так. «Послушайте, говорит, доктор, что нам с вами друг дружку мучить. Мне и платить вам больше нечем, деньги кончились. Уколите-ка меня вашим прекрасным морфием, чтоб я больше не проснулся. А я вам вместо платы отдам мой серебряный перстень, больше у меня всё равно ничего нет». Я ему: «Коли вы сами созрели, что ж, уколую. Я на вашем месте поступил бы так же. А перстень, говорю, мне ни к чему, я их не ношу». «А вы наденьте, попробуйте. Снимать не захочется», – говорит. И сунул мне эту штуку...

Картузов покрутил на пальце странно изогнутое кольцо – с одной стороны толстое, с другой сужающееся, словно завернули половинку серебряного кружка.

– Господи, – ахнула Антонина Аркадьевна, – неужели вы...

– Конечно. Зачем ему зря мучиться? А с кольцом странно. Надел его – и так оно хорошо село на палец, будто было там всегда. С тех пор почти не снимаю. Да вот вы сами попробуйте.

Он вдруг взял Антонину Аркадьевну за руку, повернул ладонью кверху, рассмотрел.

– Пальчики у вас... Разве что на этот.

И, снявши кольцо, надел ей на большой палец.

От картузовского прикосновения Антонина Аркадьевна внезапно вся окоченела, словно покрытый ледяной коркой снеговик, и почувствовала, что не может пошевелиться, но кольцо, наоборот, обожгло ей палец, и от него вверх по руке, а затем по всему телу пробежала горячая волна.

– Чувствуете? Тут какая-то мистика, – сказал Картузов, снял перстень, отодвинулся, и Антонина Аркадьевна чуть не вскрикнула – возникло ощущение, будто от нее по живому отрезали плоть.

– Господи, почему вы не появились раньше? – пробормотала она, сама не понимая, что спрашивает.

– Так я только вчера узнал о вашем существовании, – удивился Картузов. – От Архипа...

И почувствовал что-то, не закончил, удивленно, а затем и тревожно – густые брови его сдвинулись – глядя Антонине Аркадьевне в глаза.

Наступила пауза, от которой у нее заложило уши. Чувствуя, что оставаться здесь более нельзя, иначе произойдет что-то непоправимо страшное, Антонина Аркадьевна вскочила.

– Пойду условлюсь о лошадях, – сказала она. – На купальной станции держат упряжки для отдыхающих.

– Да, мне долго задерживаться нельзя, – медленно ответил Картузов, еще больше нахмурившись. – У меня в городе образовалось срочное дело.

Идя по деревенской улице и потом, договариваясь о дрожках, Антонина Аркадьевна всё пыталась найти определение для владевшего ею смятенного чувства. Оно было совершенно ей внове, а всё же что-то напоминало.

На обратной дороге вдруг поняла.

Однажды, еще в Москве, она опоздала на вечерний петербургский поезд. Стояла на перроне

с чемоданом у ног и шляпной коробкой в руке, смотрела на удаляющийся последний вагон, ощущала потерянность и тоску, как если бы самая жизнь уносилась от нее прочь, светясь красными огнями и желтыми окнами.

Картузова она нашла не в беседке, а подле калитки. Лицо его было озабочено и решительно.

– Обещали прислать через четверть часа... – начала Антонина Аркадьевна, но он нетерпеливо двинул коротко стриженной головой и перебил.

– Послушайте, я не люблю чувствительных разговоров, но нам надо объясниться. Есть ситуации, в которых недоговоренность распирает грудь, как не до конца выпущенный из легких воздух. Давайте выдохнем.

– Давайте, – обреченно согласилась она, избегая на него смотреть.

Они встали друг напротив друга посередине двора.

Егор Фомич волновался, что явно было ему непривычно и, кажется, его раздражало.

– Меж нами возникло что-то такое, что-то... – Он сердито взмахнул рукой, не умея подобрать

слов. – Но это чепуха, которая, во-первых, ни к чему, а во-вторых, совершенно невозможна.

Она кивала на каждое его слово и смотрела вниз, будто была в чем-то виновата и заранее это признавала.

– Позвольте мне договорить! – повысил Картузов голос, хоть она и не перебивала. – Для полной ясности. У вас тяжело болен муж. У меня... неважно что у меня, но...

Тут он окончательно сбился.

– У вас тоже есть кто-то, кого предать нельзя, – помогла Антонина Аркадьевна. Она видела, как тяжело дается ему объяснение, и не хотела, чтобы он мучился.

Он посмотрел на нее с изумлением.

– Да, да. Вот именно. Вы сформулировали очень точно. Вы, конечно, черт знает какая женщина. Я таких никогда еще... А, проклятье! Раз вы всё понимаете, давайте похерим весь этот эпизод. Будем считать его небывшим. Идет?

– Идет, – сразу согласилась она и после секундной заминки пожала протянутую ей руку – ту самую, на которой было кольцо.

От пожатия крепких пальцев, от прикосновения к металлу, Антонина Аркадьевна опять ощутила то ли обжигающий холод, то ли ледяной жар. Быстро выдернул свою руку и Егор Фомич, еще и отступив на шаг.

Он потер лоб. Она посмотрела на свою руку, вдруг утратившую чувствительность, и, чтобы проверить, так ли это, потрогала цепочку с монеткой, подаренную мужем. Та тоже показалась ей горячей. С осязанием что-то было не так.

– Нноо, ленивая! – слышалось из-за плетня. К дому подъезжали нанятые дрожки.

– Пойду посмотрю, как больной, – сказал Картузов и пошел к крыльцу.

Антонина Аркадьевна последовала за ним, передвигая ноги с трудом, будто во сне, и от этого с каждым шагом всё больше отставая.

Климентьев спал, некрасиво раскрыв рот, из которого вырывались хрипящие звуки.

– Долго еще... ему? – шепотом спросила она, встав за спиной у Картузова, который насыпал из пузырька в стакан серый порошок.

– Неделя. Максимум две, – так же тихо ответил Картузов. – Разбавите водой. Давать при сильном кашле. Тсс, пускай спит.

Снаружи, перед тем как сесть в дрожки, он сказал:

– Завтра заеду в полдень. И мы с вами про то – вы понимаете о чем я – забудем. Договорились?

– А разве что-то было? Не помню, – деревянно улыбнулась Антонина Аркадьевна, очень довольная своей выдержкой.

Улыбнулся и он – кажется, впервые за всё время, и грубое его лицо вдруг перестало быть грубым.

– Вот это по-нашенски.

Картузов протянул было руку, как давеча, но тут же отдернул ее. Будто вспомнив что-то, снял с пальца перстень, сунул в карман. Повернулся, легко запрыгнул в дрожки и потом ни разу не обернулся. Антонина Аркадьевна смотрела повозке вслед и ежилась. Ей было зябко.

3.

Назавтра она проснулась необычно рано. По привычке напрягла слух – дышит ли муж. Каждое утро у нее начиналось с этого страха: что она проснулась, а он лежит неживой. Потом слышала доносящийся из открытого окна щебет птиц,

вдохнула свежий воздух, и ей неудержимо захотелось побыть одной, под широким голубым небом и розовым солнцем, с равнодушной благожелательностью изливающим свои лучи всякой ползающей внизу твари.

Быстро и просто, не так как всегда, одевшись, Антонина Аркадьевна умылась во дворе и вышла за калитку, а затем и за околицу. На просторном поле, близ развалин старинной башни, она нарвала большой букет полевых цветов, которые растут сами по себе, на приволье. Потом опустилась на поросший мхом камень и долго сидела так, ни о чем не думая, словно выползшая погреться ящерица. Солнечный свет из розового стал желтым. Руке было щекотно, по ней полз муравей. Встрепенувшись, Антонина Аркадьевна взглянула на часики и заторопилась. Была половина десятого. Скоро должен был проснуться Климентьев.

Разогретая быстрой ходьбой, с душистым букетом в руках, она вошла в дом и первое, что увидела – лежащую на столе партитуру. Климентьев с суеверием творческого человека никогда не брал с рояля ноты незаконченного произведения.

– Ты дописал финал? – громко сказала Антонина Аркадьевна. – Поздравляю!

Ответа не было.

Обойдя все три комнаты, она обнаружила следы поспешных сборов. Маленький чемодан отсутствовал.

Она снова кинулась к столу и лишь теперь увидела, что на обложке появилось новое название «Неоконченная соната», а прежнее, «Лебединая песня» зачеркнуто.

Ни письма, ни даже короткой записки. Это было совершенно в духе Климентьева. Он попрощался музыкой.

«Он слышал, как я спросила, долго ли ему осталось, и услышал ответ», – вот первое, что подумала Антонина Аркадьевна, и ее охватило острое чувство виноватости. Однако еще хуже была следующая мысль: в полдень приедет Картузов, и мы будем только вдвоем. Охваченная стыдом и ужасом, она ударила себя по горячей от прилившей крови щеке.

Но где же муж? Не пешком же он ушел с чемоданом?

Она выбежала к калитке и увидела то, на что прежде не обратила внимания. На земле были следы колес и лежал свежий конский навоз. Климентьев нанял на купальной станции повозку, потом вернулся за вещами и уехал. Но куда? Зачем?

Вернувшись, она снова прошлась по дому, увидела на кресле городскую газету. Она лежала последней страницей кверху. Там было отчеркнутое карандашом место. Расписание. Сегодня в час пополудни из порта отбывал пассажирский пароход Ростов – Ялта.

И опять мысль, пришедшая Антонине Аркадьевне, была скверная. «В этом весь Константин, подумала она. Картинно и благородно уехать, не прощаясь и ни о чем не прося, а в то же время оставить намек. Иначе зачем было подчеркивать?».

И так ей стало себя стыдно, что, больше ни о чем не думая, она побежала на станцию, велела поскорее запрячь и прислать любую повозку, после чего, задыхаясь от быстрой ходьбы, вернулась обратно и наскоро сложила необходимые в дороге вещи.

Коляску пришлось долго ждать. От дома отъехали в половине двенадцатого.

– Пожалуйста, скорее, – попросила Антонина Аркадьевна кучера, а сама внутренне молила: помедленней, помедленней.

Она всё привставала с сиденья, заглядывала поверх прядущей ушами лошадиной головы. Вот-вот прибудет Картузов. Если они встретятся, это судьба. Никто кроме самой Антонины Аркадьевны не знает про отчеркнутое расписание. А она заставит себя об этом забыть. И даже если не сумеет забыть, пускай воспоминание отягощает ей совесть. Лишь бы... Лишь бы...

Но она не позволяла себе идти дальше этого «лишь бы», только вытягивала шею и смотрела, смотрела вперед.

Вот показалась развилка. Дорога разделялась на две. Одна, левая, вела к порту. Другая – к городу, откуда должен был приехать Картузов. Несколько лет назад немецкие колонисты высадили там березовую рощу. Она плохо росла под жарким солнцем, но всё же заслоняла обзор, и едет ли кто-то с той стороны, было не видно.

«Постойте!» – чуть не крикнула Антонина Аркадьевна, когда кучер взял влево.

И потом смотрела только назад, хотя знала, что теперь, даже если увидит вдали пролетку, вернуться уже не сможет. Одно дело – если решила судьба, и совсем другое – если выбор сделала ты сама.

Но из рожи так никто и не выехал.

Отвернувшись, Антонина Аркадьевна заставила себя думать о будущем, и мысли ее были трезвые, ясные.

Неделя или две, пока не умрет муж, будут очень тяжелыми. Потом похороны и сопутствующие этому тягостные хлопоты. Устроить перевозку рояля – он понадобится для музея. Потому что музей композитора Климентьева непременно будет, это ее долг. Как и приведение в окончательный вид сонаты. Ее первое исполнение станет большим и даже историческим событием, которое нужно как следует подготовить.

Господи, ноты! В спешке, в нервах она так и оставила их на столе!

В панике Антонина Аркадьевна хотела остановить дрожки, повернуть обратно, но тогда на пароход уже не успеть.

Ничего, сказала она себе трезво и устало. Вернись сюда потом – заберу и сонату, и рояль, и всё остальное. Торопиться теперь некуда. Я навечно – вдова великого Константина Климентьева. Про Картузова нужно забыть. Вдова не может, «не сносив и пары башмаков», кинуться в новую любовь. А несколько лет спустя? – всколыхнулась в ней вдруг надежда и тут же погасла. Нет, так не бывает. Жизнь ждать не станет. Как не ждет запоздалого пассажира поезд.



В ЯЛТУ

I

– Чего, ну чего тебе от меня надо? Растай, соблазное виденье. Сгинь, нечистая сила, – пробормотал, прячась за березовым стволом, Егор Картузов, человек, по внешности которого трудно было определить, что он собою представляет и чем занимается, лишь что это некто сам по себе. Он был как-то подчеркнуто ни на кого не похож, и всё в нем между собою не складывалось: резкие мужицкие скулы – с иронической складкой широкого рта, обветренная кожа лица – с белым следом от очков на переносице; простецкая парусиновая куртка, в каких ходят мастеровые, – с зажатым в руке саквояжем хорошей кожи. На людей, которые Картузова хорошо не знали, он обычно

производил впечатление неприятное и даже тревожное – именно своей непохожестью, так что непонятно было, чего от такого субъекта ждать. Те же, кто хорошо знал Егора, делились на две противоположные категории – сильно его любивших и сильно его ненавидевших.

Смотрел Картузов на поле, где в полусотне шагов раздваивалась дорога. По дороге, миновав развилку, в сторону недалекого моря и порта удалялись дрожки. В них сидела женщина в белом кружевном капоре, она оборачивалась, словно видела прячущегося, но разглядеть Егора в густой тени, за березой, было вряд ли возможно.

Стоило ему прошептать про нечистую силу, и женщина оборачиваться перестала, скоро ее заслонила поднятая колесами пыль, а еще через минуту коляска скрылась за косогором.

Только теперь Картузов вышел из рощи. Он шел через поле к видневшемуся вдали селению, состоявшему из белых глинобитных хат, поочередно выдвигая плечи и размахивая своим чемоданчиком. Лицо его было решительно и угрюмо.

«Дамочка эта – химера, и преопасная, – бормотал он себе под нос, нарочно называя уехавшую

уничижительно. – Ну ее к лешему, только душу разбередила, а нашей душе сейчас бередиться нельзя».

Привычку разговаривать с самим собой Картузов завел, когда шесть месяцев провел в одиночной камере. Тогда же, из-за многочасового каждодневного хождения от стены к стене, он очень укрепил мышцы ног и теперь при необходимости мог без труда отмахать любую дистанцию. Из Тамани, где он жил, до курортного Ак-Сола, куда он направлялся, было десять верст и все ездили на извозчике, но у Картузова имелась причина совершить это путешествие на своих двоих.

Женщину, которую Егор, мало кого боявшийся, а пожалуй и вовсе никого не боявшийся, считал опасной, звали Антониной Аркадьевной Климентьевой. Эта Климентьева, которую он вчера увидал впервые, произвела на Картузова странное, смущающее воздействие. Смущаться Егор не умел, а любую странность привык разъяснять. Минувшей ночью он, всегда крепко, свинцово спавший, всё ворочался, а если проваливался в сон, то видел сны, от которых вскидывался с сердцебиением,

и, конечно, приключившуюся с ним странность растолковал. Не квадратура круга.

Объяснение ему не понравилось. «Ты втрескался, идиот, – сказал себе Егор, любивший точность диагнозов. И тут же выработал программу лечения: – Резекция, ампутация, культевание».

Не следовало бы снова появляться в Ак-Соле, можно было бы отправить больничного фельдшера, но одно обстоятельство настоятельно требовало личного визита.

Однако Климентьева, слава богу, по каким-то делам уехала в порт – скорее всего тоже не захотела повторения вчерашнего. Поразительная, конечно, а может быть даже и более чем поразительная женщина, подумал Картузов, испытывая разом два чувства, обыкновенно не совмещающиеся: облегчение и тяжесть. Первое было понятно, второе требовало препарирования, но Егор постановил отложить эту несрочную процедуру до более спокойных времен и больше о пустяках не размышлял.

Перед околицей, отделявшей село от луга, где паслось стадо, он обернулся и минут пять внимательно смотрел на дорогу. На ней никого не

было. Кивнув сам себе, Егор быстро зашагал по улице.

II

Сначала нужно было навестить больного мужа Антонины Аркадьевны. Пройдя во двор чистенькой белой мазанки под черепичной крышей, мимо высоких осенних подсолнухов, качавших над плетнем своими черными ликами, Картузов увидал старуху, которая махала по крыльцу веником, и подумал, что это прислуга, а может быть, хозяйка, у которой Климентьевы сняли дом.

– Здорово, тетка! – сказал он. – Я к твоему жильцу.

– А нету их, – ответила та, разогнувшись и поглядев на Егора выцветшими от жизни глазами. – Уихалы.

– Надолго?

– Навовсе.

– Как это «уихалы навовсе»? – удивился Картузов. – Он же еле ходит.

Старуха сказала ему, что сначала «не попрощавши» уехал барин, а затем и барыня, которая

расплатилась и пообещала прислать за вещами после.

– Може вы заберете, коли вы ихний приятель? – спросила хозяйка. – Дрына ихняя пол-хаты займае. Сами подывытеся.

– Какая «дрына»?



Он вошел в горницу и понял, что речь о рояле. Повсюду были видны следы быстрых сборов. На полу лежала оброненная сетчатая перчатка. Сам не зная зачем, Егор ее подобрал, поднес к лицу и понюхал. Быстро бросил, словно перчатка жгла ему руки. На столе лежала газета. Пароходное расписание обведено карандашом.

«А, вон оно что, – кивнул сам себе Картузов. – Наверно, она мужу что-то рассказала про вчерашнее. Обычная женщина не стала бы, но она необычная. Туберкулезные больные на последней стадии порывисты, он вскинулся, сорвался, тем более как раз пароход в Ялту, Климентьевы ведь оттуда. Она – за ним. Ну так оно и лучше. Нечего об этой ерундистике больше думать».

И перестал. Занялся тем, ради чего прошел пешком десять верст.

– В нужник мне надо, – сказал он. – А ты, тетка, квасу пока из погреба принеси. Есть у тебя квас?

– Молоко е.

– Что я тебе, телятя, молоко пить? Ну, воды что ли дай холодной. На вот тебе. И калитку запри. Мало ли кто шастает.

Сунул гривенник, вышел.

Вытирая пот – припекало солнце, – поглядел на улицу и прошел к латрине.

Дело у Картузова в Ак-Соле было такое.

Екатеринодарские товарищи, черти драповые, на прошлой неделе провернули аховую штуку: напали на карету казначейства и взяли пятьдесят тысяч. Партии были адски нужны деньги, одними взносами на ссыльных жить она не могла.

Закавыка в том, что купюры были специальные банковские, пятисотрублевые, все номера зарегистрированы, так просто не потратишь.

Умная голова, а чья именно Картузову знать было незачем, придумала толковый план. Сговорились с керченскими контрабандистами, что те обменяют на мелкие купюры из расчета два к одному.

Третьего дня связной привез завернутую в платок пачку. Оставил инструкцию: жить как обычно, но деньги всё время держать при себе. Подойдет человек, неизвестно кто и когда. Люди это осторожные, сначала захотят убедиться, нет ли слежки. Тому, кто произнесет условленную фразу, надо передать сверток, а прочее не Егорова забота.

– Я и сам с усам, – ответил Картузов связному.
– Не первый год замужем, слежку почую. Тут ведь Тамань, каждый чужой гвоздем торчит. Езжай в Керчь, передай: если у меня на пальце перстень, вот этот, значит, всё в порядке. Если перстня нет – пусть не подходят.

На том и договорились. Врачу, не расстающемуся с медицинским саквояжем, носить с собой пачку из ста бумажек нетрудно. Позавчера Картузов делал обычные визиты в городе, никто к нему не подошел. Вчера, отправляясь в Ак-Сол, к Климентьевым, тоже имел сверток при себе. И вышла скверная штука, во всяком случае подозрительная.

Мимо дома проехал городской извозчик, и седок прятал лицо под низко надвинутым котелком – обычная филерская манера. Сезон кончился, отдыхающих мало, за каким чертом сюда ездить?

Береженого бог бережет, а ученого ум. Картузов спрятал деньги в отхожем месте, под доской пола, выковыряв скальпелем гвоздь, а потом вставив обратно.

Перстень он убрал в карман, в городе глядел в оба, а сегодня нарочно устроил себе

десятиверстный моцион. На открытой степной дороге к пешему хвост не пристроишь.

Исходить всегда нужно из наихудшего, тогда никакая каверза тебя врасплох не застанет – этим правилом Егор руководствовался сизмальства. А наихудшее могло заключаться в том, что екатеринодарский связной, его кличка была Стриж, под слежкой. Парень он хороший, но молодой, мог не заметить. Охранка не знает, что Стриж перевозит деньги, иначе взяли бы – они после экса бешеные. Должно быть, держат на подозрении, выясняют, с кем встречается. Если так, то сейчас уже принимают, что за лекарь такой Картузов поселился в Тамани. А это нехорошо, совсем нехорошо. Запросят по телеграфу Центр, там по приметам прошерстят ихнюю поганую картотеку и отобьют «молнию»: нет никакого Егора Фомича Картузова, а есть давно разыскиваемый супостат, настоящее имя которого – вчерашний и даже позавчерашний день, так что незачем и вспоминать. Как говорит поэт Пушкин: «А живы будем, будут и другие».

Человек, которого на самом деле бог знает как звали, но пусть уж остается Егором Картузовым, надо же его как-то называть, произнес

стихотворную цитату вслух, повеселевшим голосом, потому что сверток с деньгами был на месте.

– Ну вот и всё, – прошептал Картузов, поднимаясь с корточек. – Дальше просто.

Нормальному человеку то, что он собирался делать дальше, простым бы не показалось, но у Картузова всё, требовавшее ясного и логичного действия, считалось простым. Не то что ситуация с Антониной Аркадьевной и вызванными ею черт-те какими сновидениями.

Возвращаться на городскую квартиру и вообще в Тамань он не собирался.

– Первое – нанять лошадь и в порт. – По привычке Картузов проговаривал план вслух, засовывая пачку на самое дно саквояжа. – Второе – паромом в Керчь. Третье – отдать Кречету. Четвертое – новые документы, и...

Что такое «и», он не сказал. Его лицо на миг утратило чугунность, будто помягчело.

«Кречет» был керченский товарищ, договорившийся с контрабандистами. Пускай теперь произведет обмен банкнот сам, а Картузову, согласно правилам конспирации, надлежало сменить кожу и на время «залечь на дно», оборвав все

партийные связи. Отчего же не залечь, скажем, в Ялте – вот что означало «и», от которого у Егора сделалось горячо под ложечкой.

Он тряхнул головой, криво усмехнулся, буркнул: «Романтик в отхожем месте» и вышел из будки.

«А что? – уже мысленно продолжил он, всё больше волнуясь. – И очень просто. Громадное дело будет сделано, заняться нечем, а женщина такая, что... С ума сойти какая женщина. Струшу – всю жизнь потом жалеть буду. Как тогда, в ивняке».

Вспомнился давний случай, который много лет не давал ему покоя и в прежние времена даже снился, заканчиваясь не так, как произошло наяву.

На пятнадцатом году Алёха – так в ту пору звали Картузова – был крепкий парень, выглядевший старше своих лет, ушедший от хозяина, которому его, сироту, отдали в мальчики, и живший сам по себе, при речной пристани. Время было летнее, снизу приходили баржи с арбузами, Алёха подряжался на разгрузку за полтину в день. Хватало на еду, на угол в бараке, и на книжки, еще и по гривеннику на зиму откладывал – был не по годам расчетлив.

Как-то шел он густым ивняком вдоль берега, вдруг видит – шитовские озоруют. В Шитовской слободе, за складами, жили лиховатые ребята. Ходили стаей, чужих били, а попадется кто «жирный» в пустынном месте – налетали гурьбой, сшибали с ног и «сымали жир», грабили. Полиция в слободу не совалась. Алеху шитовские не трогали, знали, что он в драке бешеный и что у него за голенищем нож.

И вот видит он: трое – Пыж, Муха и Куцый – из самых отчаянных шитовцев, треплют чистенькую парочку, за каким-то лешим забредшую в эти места. Не иначе приезжие. Пыж держит за ворот гимназиста, Муха шарит ему по карманам, Куцый крутит руки девочке в красивом жемчужном платье, колечко хочет сорвать или что. Гимназист пищит: «Что вы делаете!», барышня тоненько вскрикивает.

Алёха сплюнул, хотел пройти мимо. Не имел повадки соваться куда незачем. Но дернула его нечистая взглянуть на барышню. У той лицо тонкое, глаза большущие, светятся. Лет четырнадцать ей или пятнадцать – как Алёхе. И нашло на него что-то, влез не в свое дело. Пришлось нож из сапога доставать, иначе одному с троими было не

справиться. Пока махал железкой, пока шитовские наскакивали, гимназистик убежал, размазывая красную юшку из носа, но барышня стояла, прижимала руки к груди. Наконец, после того как Алеха чикнул Куцего по локтю и тот заорал, заматерился, шитовские ушли, пообещали после подкараулить. И подкараулили, о том на память шрам под лопаткой, про это-то Картузов давно и вспоминать забыл, тем более что шрама на спине не видно. Но как девочка на него посмотрела своими огромными глазами и тихо спросила: «Кто вы?» – вот это долго помнил.

Не ответил он тогда, повернулся и ушел. Потому что она была чистая, в красивом платье, и с глазами, в которые страшно заглянуть, а он дрань и рвань, ночлежный житель. И не было ничего. Может быть, и девочки никакой не было, примерещилась. А только из-за нее, примерещившейся или нет, он себя вытащил за волосы из грязной жизни в настоящую. Выучился сначала сложным наукам, потом простой – про самое главное.

«Может, это она и есть, – думал Картузов, моя во дворе запачканные о доску руки. – Не в физическом смысле, потому что у той глаза были карие,

а у этой голубые, а в смысле – Она». Только что ему было не по себе, и вдруг сделалось празднично, он даже запел хрипловатым голосом, фальшивя, про чудное мгновенье.

Но на словах «гений чистой красоты» осекся, потому что заметил краем глаза какое-то движение по ту сторону плетня – движение, которое могло иметь только одно значение: там кто-то прятался, и не один человек.

Сразу же, без колебаний – в решительные минуты Картузов не раздумывал – он подхватил с земли саквояж и побежал к дому, расстегивая замок.

///

На пороге он столкнулся с хозяйкой. Схватил ее за руку, столкнул с крыльца, крикнул:

– Уноси ноги, старая!

Через плетень уже лезли, он трещал. Кто-то с размаху бил в калитку, зыкнул раскатистый бас:

– Открывай! Полиция!

Нащупав во внутреннем кармане саквояжа револьвер, Картузов не целясь и не оборачиваясь

выстрелил, чтоб попрятались. Треск и удары сразу прекратились.

Пробежав через дом, он выглянул в окошко, выходившее на другую сторону, в сад. Меж смородиновых кустов белели тульи фуражек.

Картузов пустил пулю и в том направлении. Вернулся в горницу, быстро осмотрелся.

Раздался звон, на стекле появилась дырка, посыпались осколки. Снаружи тоже начали стрелять. На столе лопнула керосиновая лампа, от мазаной стены полетела крошка.

– Сдавайся, Митрохин! – крикнул тот же что давеча басистый голос. – Дом окружен! Не уйдешь!

Услышав свою настоящую фамилию, Картузов без труда вычислил, как было дело.

Получили из Центра «молнию», кинулись на таманскую квартиру, откуда он утром ушел через черный ход. Потом решили наведаться туда, куда «объект» заезжал накануне. Вообразили, что тут явка.

Неважно. Сейчас имело значение только одно. Уничтожить деньги. Иначе намертво вцепятся в Стрижа, который наверно уже взят, и вытрясут из зеленого парня всю цепочку, они

это умеют. Когда им очень надо (а им надо позарез), они не миндалят, Европу не изображают, снимают намордник с Азии.

На четвереньках, чтоб не задело пулей, Картузов (Митрохина что вспоминать, был да сплыл) добрался до прикроватной тумбочки. Там стоял медный тазик, куда чахоточный сплевывал после кашельного приступа. Наскоро, безо всякой брезгливости, протер дно рукавом. Достал сверток, развернул, высыпал банкноты.

– Выходи, Митрохин! Не валяй дурака!

Кричали уже из двора. Открыли-таки калитку.

Он выстрелил в третий раз. Осталось четыре заряда, не сбиться бы.

В комнате снова застучало, залязгало, зазвенело. Били с обеих сторон – и из двора, и из сада.

«Плевать. Под пулю не полезут», – сказал Картузов сам себе, чтобы не дрожали руки. Чертовы нервы всё же растрепались, уже вторая спичка ломалась в пальцах.

Но вот одна бумажка занялась, стала чернеть с краю, загибаться. Разгорелся маленький, но жаркий костер. Минута-другая, и останется только пепел.

Четвертую пулю для симметрии Картузов пустил в сад. Вернулся к пылающему тазику, где уже догорали пятьдесят тысяч, и остался недоволен. По обгорелым клочкам увидят, что сожжены деньги, и догадаются, что вышли на след екатеринодарского эксa. Надо, чтобы подумали, будто он жег секретные бумаги.



Пригнувшись, он вернулся к столу и схватил газету. В углу истерично задребезжал струнами рояль, в него попало рикошетом.

Картузов вспомнил, что видел нотную тетрадь. Взял и ее.

Вот теперь костер получился серьезный, какой надо.

Успокоившийся и повеселевший, Картузов перебежал к окну, осторожно выглянул. Ему пришло в голову, что чем зря переводить пули, не толковей ли будет нанести какому-нибудь казенному человеку «проникающую огнестрельную травму с повреждением мягких тканей, костей и внутренних органов», как написано в премудром учебнике Красовского «Полевая хирургия».

Один засел за колодцем, не достанешь. Другой за пленницей, тоже трудно. Осторожные черти. Тут из-за угла латрины высунулась усатая морда в фуражке, рука с револьвером. По морде Картузов и пальнул. Спряталась.

Затаился в тени, стал ждать, когда морда снова выглянет. Было азартно, как на утиной охоте.

В следующий раз почти получилось – над самой фуражкой от стены брызнула белая труха.

Оставался один патрон. Картузов немного колебался, но решил не стреляться. Во-первых, к черту мелодрамы. Во-вторых, последняя речь на суде – тоже способ борьбы. В-третьих, очень уж хотелось попасть в усатого.

Но день у Картузова сегодня был невезучий. Он промазал и в третий раз, поторопился.

Бас закричал:

– Вперед, ребята, пока заряжает! У него «наган»! Живей!

Подойдя к зеркалу, Картузов сказал своему отражению:

– Ничего, Алёха. Жили – небо не коптили.

Там же, в зеркале, он увидел, как в дверь, толкаясь плечами, вваливаются двое цивильных, за ними какой-то в мундире. Показал им пустые руки, чтоб с перепугу не застрелили. Медленно, с улыбкой повернулся.

IV

Час спустя, с избитым, страшно распухшим лицом, Картузов сидел, привязанный к стулу, и скалил рот, в котором торчали осколки зубов.

– Хватит, Филимонов, – сказал жандармский ротмистр, та самая усатая морда, что недавно пряталась за нужником. И бас был его, богатый. Должно быть, чувствительно поет на музыкальных вечерах, подумал Картузов, такие упыри любят музицировать.

Фамилия жандарма была Спирин, он вначале, пока изображал Европу, с грозной вкрадчивостью представился.

Был он несколько странен несоответствием большой, багровой, словно раздутой головы с длинным, вихлястым телом. Ни секунды не оставался без движения – хрустел пальцами, позвякивал шпорами, расстегивал и застегивал ворот.

Ротмистр перепробовал всё: был и логически-убедителен, и величественно-грозен, и ласков, и свиреп. Ему хотелось знать, зачем Картузов в Тамани, в каких он отношениях с Климентьевыми, почему те срочно съехали и куда направились, что за бумаги сожжены в тазу, а более всего – не причастен ли арестованный к ограблению казначейства. Спирин заявил, что твердо знает о причастности, так как «сообщник во всем чистосердечно признался», но по глазам было видно: врет – щупает наудачу.

Картузов таких дерганных видывал прежде и хорошо знал, что больше всего их бесит не дерзость, а молчание. Он и молчал, только насмешливо улыбался. И ротмистр скоро вышел из себя.

Приземистый филер с коротким ноздристым носом, сняв пиджак и засучив рубашку, умело и аккуратно бил арестованного в живот и по лицу, выкручивал пах. Картузов орал во всю глотку, а когда филер прерывался, чтобы утереть пот, снова ухмылялся.

С отвращением глядя на неузнаваемо распухшее лицо, на котором лихорадочно и жутко из синеватых щелей блестели глаза, ротмистр сказал:

– Пустая трата времени. Я таких видывал. Ну что с тобой прикажешь делать, Митрохин? Везти тебя в тюрьму? Чтоб ты еще три месяца мучил следователя, а потом напоследок покрасовался на суде? Еще и сбежишь, тебе не впервой. Нет, душа моя. Ты стрелял по полиции, а это виселица. Что тянуть, государственные деньги тратить? Я прямо сейчас приговор и исполню. Будешь числиться как застреленный при вооруженном сопротивлении.

Он вынул револьвер, откинул барабан, вставил недостающие пули.

– Думаешь, пугаю? – Ротмистр отошел на два шага, поднял дуло. – Последний шанс. Подумай. Не когда-то там, через несколько месяцев, да может еще и выкрутишься, а прямо сейчас, здесь.

Психолог, подумал Картузов и выплюнул сгусток крови.

– Ну гляди. Отойди, Филимонов, забрызгает.

Правда выстрелит, понял Картузов, смотря в черную дырку. Не будет Ялты. Ничего не будет.

И ничего не стало.

Часть четвертая

БУБА



ШУСТЕР И ПРИОРИТА

Гром среди ясного неба

Однажды в начале октября, то есть в разгар сезона, по заслугам называемого «бархатным», в самое лучшее время южного дня, рано утром, на станции Тамань с московского поезда сошла молодая женщина, во внешности которой обычный человек, пожалуй, не заметил бы ничего примечательного, но человек проницательный сказал бы себе «однако!» и проводил бы пассажирку долгим взглядом. Впрочем никого проницательного на платформе не оказалось, и женщина – в руке ее покачивался замшевый чемоданчик – вышла на

станционную площадь, не обратив на себя ничего внимания.

Мы и сами затруднились бы сказать, что именно в ее лице было такого уж поразительного. Разве вот что. Ночью благословенную, но суховатую Тамань омыла гроза, после нее воздух стал свеж и сладостен, так что даже у железнодорожного милиционера смягчилась его суровая, застегнутая на все пряжки душа, и всему – природе, людям, бродячим собакам – захотелось жить и радоваться, а у приезжей были совершенно траурные глаза, и мерцало в них некое зловещее сияние, смысл которого затруднился бы определить даже человек проницательный.

Одета женщина была очень хорошо, так что сразу угадывалась столичная жительница, да не из каких-нибудь Печатников, с Шестой Шарикоподшипниковой улицы, а с самого что ни на есть Тверского бульвара, или, поднимайте выше, Пречистенки, которая не утратила своего лоска, даже сделавшись улицей анархиста Кропоткина.

Вышеупомянутый проницательный человек несомненно отметил бы, что гофрированная юбка пассажирки несколько помята, а лазоревая блузка

не совсем идет к темно-зеленому жакету, но чего вы хотите от человека, только что сошедшего с поезда?

Подойдя к извозчику (да-да, вынуждены честно сказать, что в отдаленной от столиц Тамани всё еще ездят не на таксомоторах, а на извозчиках), женщина спросила, далеко ли ехать до дома отдыха имени Бубы Икринского, и своим выговором со всей несомненностью подтвердила наше предположение: то была москвичка. Только жители этого слишком много о себе понимающего города произносят слова с неуловимой надменностью, вызывающей безотчетное раздражение у провинциалов.

– В Бубу-то? – переспросил извозчик, окинув дамочку взглядом Джека-Потрошителя, и заломил тройную цену, да еще потребовал плату вперед.

– Везите, – сказала москвичка, рассеянно сунув ему бумажку. – И побыстрее, пожалуйста, я спешу.

Крылья ее чуть изогнутого носа слегка подрагивали, словно в нетерпении, подергивался нервическим тиком и край тонкогубого рта.

Ну кто, спрашивается, спешит, прибыв на отдых, да еще в бархатный сезон? Странно это было, очень странно.

Еще более загадочно повела себя непонятная женщина, когда пролетка полчасика спустя, проехав мимо живописного южного базара, въехала в монументальные ворота, над которыми алел транспарант «Добро пожаловать во Всекавказскую Здравницу имени Бубы Икринского!» и остановилась у нового, исключительной красоты здания, которое очень напоминало античный храм, только вместо статуй Аполлона и Паллады украшенный гипсовыми изваяниями Рабочего и Колхозницы.

В эту самую минуту случилось редчайшее атмосферное явление, о природе которого спорят ученые-метеорологи – так называемый «гром среди ясного неба»: в безупречно ясном, образцово-показательном небе что-то грозно рокотнуло, будто там перекатились тяжелые камни, готовясь просыпаться на землю из голубого мешка, и на миг дохнуло холодом могилы, но природа тут же опомнилась и исправила свою оплошность. Солнце заструилось еще ласковей, в саду возобновили хоровое пение запнувшиеся птицы.

Но лицо спускавшейся из коляски путешественницы вдруг побледнело, обрело несколько сомнамбулический вид, всякая поспешность ее оставила, движения до неестественности замедлились.

По широкой лестнице она поднималась обреченно, словно Мария Антуанетта на эшафот, а у высокой, тяжелой двери задержалась. Но потом, шепнув что-то сердитое (разобрать можно было только слово «тряпка»), рванула бронзовую ручку в виде серпа с молотом и потом уже всё делала стремительно. Прошла широким вестибюлем, где у доски объявлений стояли, изучая меню культурных развлечений, отдыхающие в пижамах и халатах, панамах и белых пуховых шляпах, какие носит только безмятежный курортный люд, и остановилась перед окошком регистратуры.

– Здравствуйте, вот моя путевка.

Рука с кроваво-алыми ногтями положила на стойку бумагу с синим штампом и паспорт.

И пока новую отдыхающую (а теперь стало ясно, что это именно отдыхающая) оформляют в установленном порядке, давайте мы расскажем о замечательном учреждении, которое полностью

называлось «Дом отдыха и творчества Союза народных писателей СССР имени Бубы Икринского». Что такое Союз народных писателей, он же Сонарпис, читателю объяснять не нужно. Какой же читатель не знает этой почтеннейшей организации, объединяющей всех выдающихся, видных, талантливых и просто подающих надежды литераторов самой читающей страны мира. Все вышеназванные четыре категории литераторов определялись не как в прежние времена, когда писатели пописывали, а читатели почитывали, но по стопроцентно объективным, строго нормированным критериям, и каждой категории соответствовал свой уровень обслуживания, что, согласитесь, абсолютно справедливо, ибо странно ведь представить, что, скажем, Федора Михайловича Достоевского поселили бы в номер на двоих, положенный «подающему надежды», а какого-нибудь Панаева или Скабичевского – в отдельную палату с балконом и видом на море.

Вероятно, читателю, если только он не с Кавказа, будет несколько сложнее с Бубой Икринским, имя которого носил, конечно, не Сонарпис, как можно было бы предположить из не совсем

уклюжего названия, а лишь дом отдыха, так знайте же: то был народный герой, сражавшийся с царизмом и сложивший в этой борьбе свою буйную голову, некогда оцененную в три тысячи рублей – тех, прежних. Дом отдыха получил свое гордое имя в порядке «кавказизации», смычки с народами Кавказа.

Сейчас изображение головы героя-горца, украшавшее парадный вход, пугало непривычных людей свирепо вытаращенными глазами и огромными усами, а по соседству с кабинетом директора находилась мемориальная комната, где среди прочих реликвий, на самом почетном месте, под стеклом, лежала заскорузлая веревка, на которой труп застреленного Бубы провисел целый месяц в устрашение местным жителям.

Но жуткая мемориальная комната была всего лишь дальним чуланом в замке Синей Бороды, не заглядывай туда, и не попадешь из светлой сказки в темную, а сонарписовский дом творчества вне всякого сомнения был чертогом сказочным, и всякого постороннего человека, попавшего в эти стены по каким-нибудь обстоятельствам, немедленно начинали терзать черная зависть и горькое

сожаление, что он не обладает литературным талантом и даже не попадает в разряд подающих надежды, дабы получить проживание и стол хотя бы по четвертой категории, тоже очень, очень недурной.

Однако нам еще представится случай заглянуть в светелки чудесного дворца и облизнуться на подаваемые в тамошней столовой брашна, а сейчас пора вернуться к окошку регистратуры, где уже заканчивалась кропотливая и дотошная процедура постановки гостя на проживание и питание.

– Вот вам ключ от комнаты, пропуск на территорию, курортная книжка и талоны в столовую, Рита Карловна, – сказала златокудрая и величественная, как статс-дама, регистраторша, торжественно вручая новой жилище затейливый, почти камергерский ключ и маленькую книжечку с отрывными квиточками.

Вот, стало быть, как звали нашу героиню: Рита Карловна, и относилась она к разряду талантливых литераторов либо же, что тоже допускалось правилами проживания, являлась членом семьи талантливого литератора.

Рита Карловна, однако, обращенных к ней слов не услышала. Она стояла, отвернувшись от окошка и смотрела в одну точку, причем в глазах ее снова загорелось то самое зловещее сияние, о котором было упомянуто в самом начале и которое потом на время погасло.

Если бы кто-нибудь проследил за направлением этого взгляда, то увидел бы, что он устремлен на доску культурных объявлений, где на самом видном месте висела афиша, написанная частично большими, а частично и очень большими буквами:

**СЕГОДНЯ в 15.00
в Дубовой гостиной ДК
Зав. атпропотделом СНП
тов. С.С. БЕЗБОЖНЫЙ
выступит с лекцией
«ЧИСТКА НЕЧИСТОГО»**

Вход по курортным книжкам

– Скажите, – спросила Рита Карловна, вновь наклонившись к окошку. – А приехал ли уже товарищ Шустер?

– Ожидаем завтра, – был ответ, который почему-то привел спросившую в волнение.

Она на миг зажмурилась, а когда открыла глаза, огонь в них горел еще неистовей, но склонившаяся над учетной книгой регистраторша этого, слава богу, не заметила.

Получив инструкцию касательно местонахождения комнаты 3-13 (налево в коридор мимо буфета и на лифте на третий этаж), Рита Карловна отправилась указанным маршрутом.

Над буфетом висели красный плакат и черная табличка. На плакате было написано: «Это важное производство – души людей. И вы – инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей!». На табличке: «Продажа горячительных напитков с 11.00». Было без четверти, и перед стеклянной дверью уже стояли, оживленно беседуя, писатели, готовящиеся исполнить бодрое наставление.

Доносились обрывки разговоров, смысл которых был непонятен простому смертному:

- А я вам говорю, двойные потиражные.
- И всё, заливали раба божьего!
- Ничего, и на дачсектор управу сыщем!

Что ж, еще Гомером сказано: «Речи богов, что звучат на вершине Олимпа, разум земной ухватить, сколь ни тщится, не может».

Кинув на литераторов взгляд, каким ученый смотрит через микроскоп на жизнь, кишашую в капле воды, Рита Карловна прошла к лифту и две минуты спустя оказалась в маленьком номере, неживописно выходящем единственным своим окном на стену ДК, дома культуры – третья категория есть третья категория, ну а впрочем комната была очень недурна и всё необходимое в ней имелось: и персональный умывальник, и платяной шкаф, и письменный стол, и прикроватная тумбочка.

Заселившись прежде всего сняла пыльную после дороги верхнюю одежду и обтерлась мокрым полотенцем, ни разу не взглянув на себя в зеркало, что, согласитесь, странно для любой женщины. Пожалуй, Рита Карловна даже нарочно избегала поднимать глаза к зеркалу, словно боялась, что в нем ничего не отразится. А впрочем будем называть нашу героиню просто Ритой – странно величать именем-отчеством женщину, которая стоит перед нами в одном белье.

Потом Рита открыла свой чемоданчик и прежде всего извлекла из внутреннего кармана снимок в рамке. Поцеловала его, бережно поставила на тумбочку.

На фотографии было мужское лицо с тревожным, будто ускользающим взглядом, странно угловатое и несколько инопланетное, как на полотнах астигматичного художника Эль Греко. Внизу неровными, как бы прыгающими буквами написано: «*Für dich, Rio Rita*». И еще инициалы: «Л.Н.».

Женщина тронула на шее цепочку. Качнулся висевший на ней серебряный полумесяц, и в небе, по-прежнему безупречно ясном, опять гроыхнуло.

Человек, которого никогда не было

Человек на карточке был писатель, которого звали... А впрочем это имя вам ничего не даст, ибо он не напечатал ни одной книги, так что будем называть его так, как называла его Рита: Элен, по инициалам – ей нравилось это созвучие.

Человека как такового, собственно, не было, и дело даже не в том, что его не было физически,

а в том что нет никаких достоверных доказательств, что он существовал и раньше. Ведь одной только фотографии и невнятного содержания надписи, прямо скажем, недостаточно, чтобы с уверенностью заявить: Ессе Ното, мало ли кто там снят, да и слова взяты из глупой песни. От человека, если он жил, должна остаться могила, от писателя – книги или хотя бы рукописи, а от мужчины с женским именем совсем, совсем ничего не осталось.

Так что доказательств никаких не имелось, и нельзя полностью исключить, что всё это было плодом больного воображения Риты Карловны, а то, что эта женщина была психически нездорова, не вызывает ни малейших сомнений. Читатель и сам скоро в этом убедится.

Ах, какая разница – был человек, не был. Просто однажды, минувшей весной, шла Рита по мокрой московской улице, и точно так же рокотало после удаляющейся грозы небо, и сидел на корточках, подле лужи, нахохленный человек, писал что-то в блокноте, на коленке, и Рита с любопытством спросила:

– Что это вы пишете? И почему около лужи?

– Какой лужи? – рассеянно пробормотал неизвестный и прочитал. – «Однажды я взглянул туда, куда никто не заглядывает, и понял то, чего никто не понимает». Это начало романа. Только что пришло, надо скорее записать. Незаписанные слова испаряются, разве вы не знаете?

Он повернул голову, посмотрел на Риту снизу вверх, и дальше время выкинуло свой обычный фокус, давно знакомый человечеству, но лишь недавно объясненный физической наукой: деление на равномерные годы, месяцы, часы и минуты иллюзорно; на самом деле Время движется хаотически – то застывает, то делает скачки, а еще в нем бывают провалы. В такой провал и угодила Рита, потому что последующие события в ее памяти сохранились как-то смутно и неотчетливо, в старинных романах про такое пишут «и всё завертелось». Очнулась она в комнате с незабудками на обоях, и было уже лето, пахло сиренью, Элен сидел за столом и писал своим невозможным почерком фиолетовые письма на листах бумаги, а она, Рита, стояла, прислонившись спиной к двери и предвкушала счастье. Знаешь ли ты, дорогой читатель, что предвкушение счастья – это и есть наивысшее

счастье? То есть, конечно, драгоценными были и минуты, когда поздним вечером, под лампой, Элен читал вслух написанное за день, но ожидать вечернего чтения, смотреть, как замирает и снова движется худая рука, превращая чернила в буквы и слова – то было ни с чем, ни с чем несравнимое наслаждение.

Любовник и сожитель Риты писал роман об апостоле Петре, который в противоречие своему каменному имени, был несколько не тверд, и трижды отрекся до петушиного крика, и бежал от римских казней, но спросил: «Камо грядеши, Господи?», и устыдился, и вернулся обратно, и был распят вниз головой.

Роман поднимался от земли к облакам, как строящийся высотный дом. Элен жил Рукописью, а Рита жила Эленом.

Счастье длилось очень долго, но закончилось очень быстро – еще один парадокс нелинейного Времени. Однажды автор отложил деревянную ручку со стальным пером, так причудливо разбрызгивавшим лиловые брызги, и сказал: «Вот и всё».

Это был лучший роман на свете – никакая сила не заставила бы Риту в том усомниться. Она была уверена, что всякий, начавший читать, не сможет остановиться до самого конца, а дочитав, уже не будет прежним.

Рита перепечатала рукопись на машинке и отнесла ее в редакцию знаменитейшего журнала, редактора которого знала в своей предшествующей жизни.

– Как почтеннейший Иван Родионович? – спросил редактор, не осведомленный о переменах в Ритином существовании, и она не сразу вспомнила, что так звали ее брошенного мужа. Да-да, был какой-то в френче и фуражке, и гудел в клаксон автомобиль, и рояль – был же, кажется, рояль – и лились из-под пальцев луны волшебной полосы, а теперь существовал только патефон, игравший в комнате с незабудковыми обоями одну-единственную пластинку, исполнявшую пасадобль «Für mich, Rio Rita». По вечерам, после чтения они всегда танцевали под эту песню, и он называл ее Риоритой.



Она объяснила редактору, что нет никакого Ивана Родионовича, а есть величайший роман на свете.

Через две недели – Время тут опять сделало паузу – редактор позвонил и загадочным тоном сказал: «Вашу рукопись прочли. Автора приглашают в Сонарпис на обсуждение».

Рита торжественно снарядила возлюбленного в звездный путь, выгладив ему единственный хороший пиджак и повязав новый галстук триумфального порфинового цвета. «Не надо, плохая примета», – сказала она, когда он хотел на пороге обернуться и махнуть рукой. Элен послушался. Рита смотрела в окно, как он идет через двор прямой и немного деревянный, встряхивая длинными волосами, а потом он вошел в темный тоннель узкой подворотни, что вела на Сретенскую улицу, и больше Рита никогда, никогда его не увидела.

О том, что произошло на заседании в Сонарписе, ей рассказали очевидцы. Они говорили, что больше всего это походило на библейское побиение камнями и что первый камень кинул заведующий отделом атеистической пропаганды Свирид Безбожный. А завершилось обсуждение тем, что автор избиваемого романа, долго сидевший молча, с опущенной головой, вдруг пронзительно закричал страшным, тонким голосом, кинулся к столу президиума, схватил лежавшую там машинописную копию и, не переставая издавать раненый вопль, выбежал вон.

Лютому, несмываемому проклятью предала себя Рита за то, что ее не было дома, когда Элен вернулся из Сонарписа. Она отправилась сначала в контору Торгсина, где обменяла свои золотые сережки на розовые боны, а потом в торгсиновскую Пещеру Аладдина, где потратила боны на бутылку настоящего бордо, потому что нельзя же было отметить такой знаменательный день каким-нибудь «Горным дубняком».

С этой треклятой бутылкой в руках она и была, когда увидела толпящихся во дворе соседей. Они слышали звериный вой, доносившийся из окна, и кто-то вызвал психическую неотложку, а затем санитары в белых халатах увели скрученного, с кляпом во рту сумасшедшего, который бешено вращал безумными глазами.

А в комнате Рита обнаружила две кучи пепла: в стиральном тазу темно-серую от напечатанной копии, в ванне серо-фиолетовую от рукописи. Бутылку вина Рита кинула в стену, и на обоях с незабудками осталось большое несмываемое пятно кровавого цвета.

Два дня спустя в сонарписовской газете «Буревестник» вышел фельетон Свирида Безбожного

«Камо грядеши, тамо и огребеши», эффектно, на библейский манер (стиль статьи был безупречен) заканчивавшийся фразой: «И исшед наш евангелист вон, плакаясь горько и ревя белугою, и прилетели за ним белокрылые ангелы с красными крестами на ризах и поместили в чертог, где подобным писакам самое место. Аминь».

В какую психиатрическую лечебницу увезли больного, Рита узнала лишь неделю спустя. В центральной справочной Гормедздрава ей, нежене и неродственнице, дать ответ отказались, и пришлось обходить все скорбные адреса подряд, тратя много времени и много денег на подкуп должностных лиц. И в тот самый день, когда след пропавшего наконец сыскался – на знаменитой Канатчиковой даче, когда Рите ценой колечка с топазом удалось заручиться обещанием свидания, грянул новый гром.

Уже не в скромной писательской газетке, а в Самой Главной Газете вышла статья оргсекретаря Сонарписа Мирона Шустера, и была она не юмористическая, а громокипящая, называлась «Запечный таракан контрреволюции» и сопровождалась эпиграфом из лирического поэта Блока:

«Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг». Чеканным, железным слогом (прилагательное «железный» встречалось в тексте 14 раз и трижды непреклонное наречие «беспощадно»), автор призывал не терять бдительности в условиях обострения международной напряженности и «дать идеологической диверсии должную правовую оценку».

Ее сразу же и дали. Свидание в больнице не состоялось. Пациента перевезли из учреждения, где врачуют душу, в учреждение, где ее вынимают.

Этот-то адрес выяснять не понадобилось, кто же его не знает. Каждый день, не доверяясь почте, Рита носила письма и подавала их через окно с табличкой «Справки и передачи», но справок ей не давали, передач от нечлена семьи не принимали, а письма оставались без ответа, и это казалось невыносимой мукой, хотя на самом деле было счастьем. Тому три недели, в дождливый, гнилой сентябрьский день письмо не взяли, сказав, что адресат умер и что нет, тела умерших не выдаются.

Рита не кинулась под колеса первого же автобуса только потому, что ей пришла в голову

лихорадочная, ослепительная мысль: восстановить роман, ведь она знала его весь, помнила каждую строчку, а память у нее была великолепная. И Элен не исчезнет, наоборот, он станет бессмертным.

Несколько дней просидела она над пачкой бумаги, под багровым пятном на стене, такая же самую ручку в те же самые лиловые чернила. Вспомнила каждый абзац и почти каждую фразу, но романа не получилось. Буквы оставались всего лишь буквами, высотный дом рос этаж за этажом, но окна в нем не горели и люди в нем не жили.

В конце концов Рита предала мертвую бумагу сожжению и купила в аптеке, верней обменяла на последнюю свою побрякушку, десять пачек веронала.

Но пришла ей в голову новая мысль, не ослепительная, а ослепляющая.

На следующий же день она поступила на работу в Союз народных писателей, на скромную должность машинистки – перепечатывая Рукопись, она в совершенстве освоила это невеликое мастерство. Тишайшей мышью, коварнейшей Матой Хари скользила она по коридорам и сокровенным закоулкам культурного заведения, подглядывая,

подслушивая и выведывая. И как-то раз – в прошлый понедельник – увидела на доске объявлений Профкома, в «Списке заезда Дома отдыха и творчества им. Бубы Икринского», два заветных имени.

Чемоданчик Риты был так мал, а блузка так плохо сочеталась с жакетом вот по какой причине: все остальные наряды, равно как и выходные туфли и флакон французских духов – всё ценное, еще остававшееся от прошлой замужней жизни – были обменены на путевку третьей категории. Все ведь люди, даже ответственные сотрудницы Профкома, занимающиеся распределением жил-соцблаг.

Ну вот теперь, дорогой читатель, ты знаешь о нашей героине всё. Осталось лишь прибавить, что под фотографию на тумбочке Рита Карловна еще положила две газетные вырезки, одна за подписью «Свирид Безбожный», другая за подписью «М. Шустер».

И хватит о печальном. Что тратить время на человека, от которого ничего не осталось кроме фотокарточки? И что может быть нелепее писателя, который понасочинял сорок бочек арестантов, а потом, сойдя с ума, всё написанное спалил?

Мудрый закон жизни гласит: что кануло, то кануло, что сгорело, туда ему и дорога.

За окном сияло бархатное солнце, проникая даже в щель между ГК и ДК, главным корпусом и домом культуры, а снизу доносились волнующие ароматы.

Близились время обеда, которыми так славилась кухня великолепной «Бубы». Лозунг здоровой жизни и здорового питания, увековеченный висевшим на стене девизом «Ужин отдай врагу», означал лишь, что обеды в доме отдыха подавались поистине лукулловы, после которых вечером вполне хватало уже поминавшегося буфета с легкими и нелегкими закусками.

За мной же, мой читатель, в чудесную Пальмовую столовую! Клянусь, ты не пожалеешь.

Под пальмами

Пальмовая столовая называлась так, потому что подле каждого стола там стояла пальма в кадке, и трапезы отдыхающих небожителей проходили как бы в елисейских кущах, под сенью райских деревьев. Допускали в это благословенное место отнюдь не всякого, у врат восседал страж,

проверявший пропуска и, согласно цвету талончика, взиравший на выдающихся литераторов первой категории с любовной улыбкой, на видных с ласковой, на талантливых бесстрастно, а на подающих надежды с отеческой суровостью. И лежала перед стражем заветная Книга Судеб, в которой он ставил магические знаки против каждой фамилии.

Уже пропущенная в святилище Рита, прибывшая на обед позже всех, уронила на пол пропуск, не спеша за ним наклонилась, и подсмотрела графу с интересовавшей ее фамилией, а напротив галочку, означавшую, что носитель фамилии уже прибыл и сидит за первым столиком. В соответствии со своим гордым номером, тот находился в самой почетной части зала, на возвышении, за нарядной баллюстрадой, вдали от длинных казарменных столов третьей категории, а всё же был от туда неплохо виден.

Там, на Олимпе, сидели три человека: известная детворе всей страны поэтесса Лафкадия Манто, автор стихотворения «Танечка-стаханечка»; маститый господин со смутно знакомым Рите лицом – ни в коем случае не товарищ, а именно господин с гоголевскими волосами до

плеч, такого в дореволюционные времена опытный официант сразу начинал величать «сиятельством»; и еще очень полный блондин с добродушной улыбкой на румяных, как наливные яблоки щеках.

На него-то Рита и стала смотреть, почти не отрываясь. Блондин не мог быть никем другим кроме как Свиридом Свиридовичем Безбожным, руководителем одного из важнейших и ответственных отделов Сонарписа.

Пристальная наблюдательница отказалась и от первого (селянка по-красноказачьи), и от второго (чахохбили из кур), а компот из абрикосов взяла, но даже не пригубила. Тщетно расточал умопомрачительные запахи поднос, на котором лежали свежеспеченные ватрушки, медовые коржи, маковые булочки и абсолютный шедевр Буба-Икринского кондитера – яблочный штрудель. Ничего Рита не отведала, ни к чему не притронулась, а на вопрос соседа, в каком жанре она работает, невпопад ответила: «Какая же гадина», после чего сосед, колхозный лирик, на всякий случай отодвинулся.

Подиум, отведенный для самого лучшего стола, являл собою полукруглую веранду, откуда открывался умопомрачительный вид на бухту, и не было решительно ничего странного в том, что одна из курортниц, эффектная молодая дама с несколько бледным, еще не загоревшим на южном солнце лицом, поднялась по ступенькам и встала у высокого окна, вполоборота к трем выдающимся членам творческого союза. Маститый литератор (очень интересно, кто бы это мог быть) взглядом ценителя окинул стройную фигуру любительницы природы, детская поэтесса внимательно посмотрела на туфли, а товарищ Безбожный головы не повернул, он был увлечен штруделем, а кроме того готовился сделать важное объявление.

– Непременно приходите на мое выступление о нечистой силе, не пожалеете, – услышала Рита, косившая глаз в сторону стола. – Я собираюсь закрыть эту тему раз и навсегда. Нанесу сокрушительный удар по Черту и чертовщине, истреблю этот жанр как класс.

– Ммм? – заинтересованно промычал с набитым ртом длинноволосый.

Поэтесса спросила:

– А читали вы мой новый сборник «Красные чертенята»?

– После моего выступления и статьи, которую я напишу на его основе, никаких чертенят не останется. Придется вам менять название, – засмеялся Свирид Свиридович.

Рита, должно быть, уже насладившаяся видом, двинулась в обратном направлении. Она прошла очень близко от столика, задев рукавом ключ, что лежал около тарелки товарища Безбожного.

Ключ (на нем висел латунный кружок с цифрами «1-2»), упал на пол.

– Ах, какая я неловкая. Ради бога извините, – пробормотала Рита и присела на корточки.

– Бога нет, гражданочка, – с веселой улыбкой сказал ей завождем. – А если прямо отсюда отправитесь на мою лекцию в ДК, то узнаете, что нет и черта.

– Вот, еще раз прошу прощения.

Распрямившись, Рита положила ключ на скатерть и на миг, всего на миг, посмотрела заведующему в глаза, и тому вдруг показалось, что в помещении сделалось темно. «Переел. Не надо было

хомячить третий кусок штруделя», – подумал Свирид Свиридович.

– Так приходите, – сказал он вслед элегантной женщине.

– Ни за что не пропущу, – был ответ.

Сеанс разоблачения и магия

В Дубовой гостиной бубинского ДК, уютном зальчике с темно-коричневыми деревянными панелями, украшенными портретами выдающихся литераторов прошлого и настоящего, собрались самые сливки курортного сообщества. Тут были солидные люди, желавшие не отставать от новейших идейных веяний, компасом каковых в Сонарписе считался Свирид Безбожный; были подающие надежды авторы, которым хотелось поскорее перейти в разряд талантливых; присутствовали и оба сотрапезника заведующего отделом атпропаганды, портреты которых тоже украшали собою блистательную настенную галерею, начинавшуюся с автора «Слова о полку Игореве» и завершавшуюся длинноволосым писателем, чье лицо не напрасно показалось Рите знакомым.

Она села в последнем ряду, возле двери, и была самой прилежной слушательницей во всей аудитории, ни разу не отвлекшись от выступления.

А там было что послушать! Товарищ Безбожный говорил вещи удивительные, и оратор он был от бога... Впрочем, бога, как известно, не существует, этот миф в наши времена сокрушительно разоблачен, в том числе – и не в последнюю очередь – стараниями Свирида Свиридовича.

Сегодня же – и это было веяние новое, свежее, волнующее – зав атпропом взялся и за Дьявола, которому пришлось несладко. По остроумному выражению оратора, он производил чистку Нечистого, вычищал эту не только смешную, но и политически вредную химеру из сознания общества.

– Дьявол, Люцифер, Сатана, Вельзевул, Мефистофель, Иблис, Воланд, Азazelь, Раху, Мара, Ариман, – перечислял имена Нечистого выступающий, являя недюжинную эрудицию, – как только не величали главного носителя Зла служители культов, которым нужно было держать рабов Божьих в страхе в этой жизни, и в мифической «последующей». Вот мы с вами, дорогие товарищи,

расчехвостили в хвост и гриву Иисуса Христа, Аллаха, Будду и Яхве, но с поразительной беззаботностью оставили в покое антипода Боженьки – Черта. Сознательные граждане – члены партии и комсомольцы – подхватили наш прошлогодний почин «Безбожного срамословия» и решительно искореняют из своей речи отжившие выражения вроде «ради бога», «бог его знает», «прости господи» и прочее, заменяя елейное словечко любым бранным словом, и получается смешно, а здоровый смех, товарищи, лучшее лекарство для духа! – Выступающий поднял пухлую ладонь, предупреждая одобрительные аплодисменты. – Однако «черт» из нашего лексикона никуда не делся. Мы по-прежнему запросто посылаем к черту, «ни черта не делаем», говорим «черт с тобой» и прочее, а некоторые литераторы, в том числе выдающиеся, даже позволяют себе вставлять каких-нибудь «чертенят» в название произведений, призванных воспитывать подрастающее поколение.

Тут Безбожный отыскал взглядом Лафкадию Манто и поглядел на нее не сурово, а с отеческой укоризной. Прославленная поэтесса потупилась.

– А ведь что такое дьявол и прочая так называемая «нечистая сила», товарищи? Это идеологическое оружие слугителей культа, позволяющее им управлять сознанием отсталых слоев населения через иррациональные страхи. Да что говорить об отсталых слоях населения! Недавно один ленинградский поэт, член профсоюза... – Оратор сделал маленькую паузу, ведя глазами по лицам, и погрозил пальцем романтическому поэту Джиму Беллинсгаузену. – ... в буфете рассказывал, что видел ночью, около гостиницы «Англетер», призрак поэта Есенина, и тот якобы прошептал ему: «Дай Джим на счастье лапу мне».

– Я надрался до чертиков, вот и примерещилось, – крикнул с места поэт.

– До чего-до чего вы надрались? – Свирид Свиридович сатанински, то есть мы хотим сказать зловеще усмехнулся. – То-то. Этак вы и до зеленого змия, спутника Нечистого, допьетесь. Нет уж, товарищи, если организм требует надраться, то давайте обходиться без мистики, лучше напивайтесь до белой горячки.

И тут уж товарищ Безбожный не стал мешать залу вдоволь посмеяться, ибо опытный оратор

знает, что всякую интеллектуально насыщенную речь следует перемежать выдохами, а серьезные сентенции нужно разбавлять порциями юмора, чтобы давать публике разрядку.

А сразу вслед за тем лекция (да какая к черту... пардон, к лешему... то есть тоже нет... какая на хрен лекция, это скучное слово совершенно не подходило к выступлению Свирида Свиридовича – скорее то был сеанс фокусника, поражающего воображение аудитории), так вот сразу вслед за тем блистательный сеанс разоблачения Нечистого достиг своей кульминации.

Встав в преувеличенно драматическую позу – рука воздета, голова запрокинута – Безбожный обратился к бронзово-хрустальной люстре со словами:

– Чертов дьявол или как тебя там! Если ты есть, порази меня своими сатанинскими чарами! Нашли на меня своего Змея! Поджарь меня на своем адском огне!

Он подождал несколько секунд, насмешливо раздвинув сочные губы.

– Что, слабó?

По залу прокатился смешок.



– Ну тогда мы тебя отменяем! Изыди, нечистая сила! И давайте, дорогие товарищи литераторы, – Свирид Свиридович опустил очи долу, то есть залу, – дадим соцобязательство вычистить из своей речи всякое упоминание об этом лишенце. Объявляю почин, который с нашей руки подхватит вся страна. Каждый, кто помянет в своей речи рогатое недоразумение, платит гривенник. Эти

гривенники будут собираться в особый общесоюзный фонд помощи Пятилетке. Кто за мое предложение, товарищи?

И все вскинули руки, а длинноволосый классик шепнул детской поэтессе:

– Красиво придумано.

Потом руки опустились, раздались мощные аплодисменты, от которых люстра, не ответившая на вызов оратора, зазвенела хрустальными шариками, но никто этого отчасти погребального перезвона не услышал.

Был и еще один звук, тоже поглощенный хлопками, – скрипнула дверь.

Это стремительно вышла Рита Карловна.

Никто на нее не обернулся.

Посыпались предложения, как следует назвать инициативу – предложения самые разнообразные, от серьезного «Мастера слова Пятилетке» до веселых, и в результате победило энергично-зубоскальское «Фонд Чертополох», а книжный иллюстратор Колобок-Первомайский тут же сделал эмблему: задиристый цветок, растущий из рогатого черепа.

Остаток дня Свирид Свиридович провел на заслуженных лаврах: сначала в кругу трех выдающихся и пяти видных членов Сонарписа, выслушивая лестные речи, чинно посидел в люля-кебабной «Лермонтов» (как уже было сказано, ужинов в Бубе не подавали, но в славном курортном поселке Ак-Сол имелись отличные общепитовские заведения); потом, уже глубоким вечером, до 23.00, в обстановке раскованной и вольной, посидел в демократичной компании талантливых, причем было выпито не менее десяти бутылок «Таманского крепкого», так что к себе в «люкс» триумфатор вернулся не вполне твердым шагом, махнул рукой на чистку зубов, улегся в кровать, минутку-другую поулыбался счастливой улыбкой, вспоминая приятнейшие миги дня, и уснул крепким сном физически и психически здорового (обратим на это внимание) человека с чистой совестью.

А менее чем через час, то есть в полночь, проснулся и в первое мгновение сам не понял отчего, но затем выяснилось, что от музыки. Негромко, но очень близко играла вкрадчивая, со

зловещей веселинкой музыка, и бархатный голос пел: «Für mich, Rio-Rita».

– С ума они что ли посходили, – проворчал Свирид Свиридович, вообразив, что какие-нибудь подающие надежды литераторы затеяли ночные танцы.

Он разлепил один глаз, чтобы взглянуть на часы, которые никогда не снимал с руки. То был точнейший швейцарский хронометр со светящимися стрелками, видными в темноте.

И оказалось, что воздух пронизан каким-то странным свечением. Оно было неяркое, багровое и сочилось, слегка подрагивая, как бы снизу вверх.

Свирид Свиридович открыл оба глаза, поморгал ими и даже протер, но странный свет не исчез и музыка не утихла. Кроме того стало ясно, что доносится она не откуда-то издалека, а звучит совсем близко, из угла комнаты.

Тогда заведующий атпропотделом протянул руку к тумбочке, чтобы включить алюминиевую лампу, но вместо металла его рука нащупала нечто шершавое, длинное и в то же время круглое, похожее на свернутый шланг, которому на прикроватном столике делать нечего. Безмерно изумившись,

Свирид Свиридович взял шланг, поднес к глазам и зачоченел. Рука держала за шею толстую змею, глядевшую на Безбожного маленькими мертвыми глазками, в которых помигивали отблески красного сияния.



Отшвырнув ужасную химеру, Свирид Свиридович с криком прыгнул с кровати в противо-

положную сторону и завопил еще пуще, потому что его ноги пронзила обжигающая боль – они попали на тлеющие уголья, которые, оказывается, и источали адское свечение.

Крик перешел в хрип, одна половина лица Безбожного поползла вверх, другая вниз, и он рухнул на ковер без сознания.

Сеанс магии и разоблачение

Тогда из кресла, стоявшего в темном углу, откуда лилась нехорошая песня, поднялась женская фигура.

Рита Карловна сначала подошла к лежащему, наклонилась, пощупала жилку на шее (жилка билась часто и неровно), брезгливо вытерла пальцы и принялась за работу.

Пришло время объяснить некоторые обстоятельства, в свое время пропущенные нами, поскольку они нас только бы запутали.

Читатель, вероятно, помнит, что, во-первых, наша героиня днем пришла в столовую позже всех. Произошло это из-за того, что перед обедом Рита заглянула в домотдыховский магазинчик, где в отделе деттоваров семейные литераторы могли

приобрести цветные карандаши, надувные резиновые круги, лопаточки для песка и прочие предметы, радующие маленьких курортников. Рита купила там плоскую коробочку с пластилином.

Во-вторых, напомним, в столовой Рита неловко задела лежавший на скатерти ключ, а потом присела на корточки, чтобы его подобрать. За эти несколько секунд ее ловкие пальцы успели сделать на пластилине оттиск.

Пришло время и рассказать, куда Рита Карловна отправилась из Дома Культуры, не дослушав историческое выступление о Нечистом: на тот самый базар, мимо которого она проехала на извозчике, следуя в Бубу со станции.

Приморские базары не то что северные прозаические колхозные рынки, где скучная картошка, плебейские семечки и серые собачьей шерсти носки. О нет! Там, под благословенным синим небом, еще жив дух черноморского флибустьерства, запорожской вольницы и хасбулатовского удалства, там навалены горами золотые дыни и полосатые арбузы, в корзинах сочатся кровью гранаты и пузырятся гроздья винограда, а в дальнем ряду, на так называемой «хухре-мухре», можно купить

какую угодно всячину, от черепков, вырытых из доисторических курганов, до морских звезд, перламутровых раковин, засушенных шакальих лап и жабьих чучел, которыми торгуют бойкие местные мальчишки.

На «хухре-мухре» Рита приобрела дохлую гадюку, не торгуясь заплатив сопливному продавцу два рубля, недрогнувшей рукой сунула рептилию в плетеную сумку и походила по рынку в поисках каких-нибудь рогов, но нигде их не нашла.

Затем в потребсоюзовской палатке «Металлоремонта» заказала по слепку и получила ключ, а в вещевом ряду совершила покупку серьезную – приобрела за пятнадцать рублей подержанный патефон, правда, без пластинок, но одна, та самая, заветная, у Риты Карловны была привезена из Москвы и лежала в замшевом чемоданчике.

Остается только прибавить, что, войдя в номер «люкс» через полчаса после того, как погас свет, Рита рассыпала на полу перед кроватью дымящиеся угли, тайно похищенные в котельной.

Вот и всё разоблачение магии.

А когда возмездие осуществилось в точном соответствии со сценарием, и в мозгу полнокров-

ного Свирида Свиридовича лопнул перегруженный алкоголем сосуд, мстительница убрала все следы преступления: сложила раскаленный уголь в ведро, туда же сунула и змею, которая немедленно начала поджариваться, закрыла патефонную коробку и осторожно, в два похода вынесла весь этот реквизит из «люкса».

Приехал!

На следующее утро спустившиеся к завтраку литераторы увидели скорбное зрелище. Через вестибюль, предводительствуемые врачом «неотложки», прошествовали двое крепких мужчин в белых халатах, с красными крестами на круглых шапочках. Они тащили на носилках заведующего атпропотделом, а он тщился приподняться, причем правая нога и правая рука его не слушались, глаза сверкали безумным ужасом, а половина рта, кривясь, высвистывала непонятное, зловещее: «Лцфр, стна, мвстфл, влнд...».

Анкудин Чохов, автор рассказов о героических буднях медсанработников, со знанием дела сказал близстоящим:

– Это кондратий, а выражаясь по-научному, гемиплегия, притом с явным поражением когнитивной функции. В девяноста процентах случаев неизлечимо. Был Свирид Свиридыч, да весь вышел.

Стояла в толпе и Рита Карловна. Она прошептала вслед носилкам: «Вот тебе белокрылые ангелы с красными крестами на ризах» и хотела было проследовать на завтрак, но, проходя мимо регистратуры, услышала разговор, очень ее заинтересовавший.

Важный гражданин в белом чесучовом пиджаке и вышитой украинской рубаше отдавал через окошко распоряжения давешней златокудрой статс-даме:

– «Форд» уже выехал встречать. Раз 1-2 освобождается, разместить товарища Шустера туда. Личности товарища Безбожного в кладовку, быстро уборочку – ну сама знаешь.

– Сделаем, Ромуальд Селифанович, не беспокойтесь, – ответило окошко.

И Рита завтракать передумала.

Она взяла со столика для периодики журнал «Крокодил», села у стены и стала разглядывать

веселые картинки с чрезвычайной серьезностью, словно держала в руках какой-нибудь «Вестник социалистической индустрии».

Полчаса спустя в дверь заглянул швейцар, крикнул в сторону регистратуры «Приехал!», а еще через минуту в вестибюль, скрипя сапогами, вошел плотно сбитый мужчина в расстегнутом сером кителе и такого же цвета картузе. Это несомненно и был один из высших руководителей Сонарписа товарищ Шустер.

Два сверкающих глаза, смотревшие поверх журнальной обложки, так и впились в вошедшего.

Рита Карловна была неприятно удивлена. Она представляла себе автора статьи о запечных тараканах иначе – шустрым, суетливым, чернявым, одним словом, похожим на таракана, а Мирон Шустер оказался нетороплив в движениях, твердоступен, с косым сабельным шрамом на хмурокаменном лице. Когда же прибывший застегнул свой китель, под нагрудным карманом блеснул красной эмалью орден в матерчатой розетке.

Глаза над журналом сузились. В них читалась напряженная мысль.

– Дай сюда. Я не инвалид, сам донесу, – сказал оргсекретарь, обернувшись назад, и отобрал у шофера потрепанный чемодан. – Эй, товарищ! – (Это уже в окошко, громким голосом). – Куда мне заселиться? Бумажки я тебе после занесу, мне в сортир надо.

– Не извольте беспокоиться, товарищ Шустер! Я к вам сама зайду. Ковалев, проводи в 1-2. Завтрак до девяти тридцати, товарищ Шустер, но вы не спешите, стол будет накрыт.

Весь день Рита следила за большим человеком, сохраняя осторожную дистанцию. Завтрак оргсекретарь съел быстро, по-военному: сел и пять минут спустя уже встал, вытирая коротенькие во рошиловские усы салфеткой. Потом так же органи зованно, походкой ать-два, но уже в полосатой пи- жаме, проследовал на пляж, обнажил мускулистый борцовский торс, закрыл глаза и стал принимать солнечную ванну.

Тогда следовавшая за ним тенью Рита верну- лась в корпус, дождалась, чтобы в коридоре стало пусто, и отворила своим нелегальным ключом номер.

Открыла платяной шкаф, посмотрела на висевшую там одежду: китель, две рубашки, нижнее белье, больше ничего.

Прошла в ванную. Опасная бритва, помазок, зубной порошок «Даешь полюс!».

Расстегнула чемодан, где лежали: толстая книга «Капитал», заложенная бумажкой, с многочисленными карандашными пометками на страницах; свернутый пружинный эспандер; самоучитель немецкого языка; металлическая шкатулочка со шприцом и бутылочкой инсулина.

Мечтательно улыбаясь, Рита покачала на ладони шприц и хотела уж прекратить обыск, но в самом низу лежала еще какая-то плоская коробка. В ней находился предмет, заставивший досмотрщицу забыть о шприце: маленький черный «браунинг» с золоченой гравировкой: «Тов. Шустеру доблестному бойцу Революции от РВС I КА».

С ловкостью, свидетельствовавшей о навыке, Рита выщелкнула магазин, убедилась, что патроны вставлены.

– Тут санитаров будет мало, – сказала она вслух, задумчиво. – Это убийца.

И сама себе ответила:

– Решено. А потом себя.

Стрелять Риту Карловну научил бывший муж, тот самый, в френче, с позабывшимся именем.

Плоская коробочка вернулась на место, а «браунинг» перекочевал в дамскую сумочку.

И больше, до самого вечера, решительно ничего примечательного в Бубе не произошло.



Товарищ Шустер позагорал ровно 90 минут, потом, несмотря на холодную октябрьскую воду, сплавал до буйков и обратно, вернулся в номер, где целый час делал физзарядку, поучил язык потенциального противника, с аппетитом съел в столовой первое, второе и третье, снова сходил на море, проштудировал главу «Капитала», не менее трудную, чем немецкая грамматика, погулял в парке, прослушал в ДК лекцию о международном положении, а там и день, отлично организованный и насыщенный, подошел к концу. Осталось только выпить полезного при диабете кефира, почитать газету и вкусить здорового восьмичасового сна.

Ровно в одиннадцать ноль-ноль товарищ Шустер выключил лампу, положил руки поверх одеяла, зевнул и немедленно уснул.

А потом лампа загорелась вновь, спящий разлепил веки, ослеп от яркого света, поморгал и увидел, что прямо в переносицу ему уставлено дуло, чернеющее круглой дыркой. Разглядел две женские руки, крепко держащие рукоятку. И лишь

после этого – тонкое белое лицо с неестественно сверкающими глазами.

И еще слышалась негромкая музыка, звучала модная песенка на изучаемом оргсекретарем языке: «По мне, Рио-Рита, ты лучшая в Гранаде сеньорита».

– Это тебе не снится, гадина, – раздался свистящий шепот. – Это расплата.

– Ты кто? Белогвардейка? Троцкистка? – спросил Шустер сиплым со сна голосом.

Дуло опустилось ниже, теперь оно целило лежащему в сердце. Выстрелить в лицо человеку, который на тебя смотрит, совершенно невозможно, даже если очень ненавидишь.

Шустер произвольно, жестом бессмысленным и бесполезным, прикрыл грудь рукой. На пальце сверкнул серебряный перстень необычного контура.



ЖЕЛЕЗО И СЕРЕБРО

Мирон Шустер был человеком из железа. Когда он волновался или делал японскую гимнастику, его сердце билось о прутья грудной клетки с металлическим стуком. Это произошло с Мироном от долгой жизни. В старые времена сорок лет долгой жизнью не считались, но старая жизнь, поджав блохастый хвост, уползла в канаву и издохла, а в новой жизни железные люди редко доживали даже до тридцати.

У обычного человека чувств много, и он считает, что жизнь штука сложная. У железного человека жизнь проста, а чувств только два: он умеет ненавидеть и умеет любить, потому что тот, кто умеет только ненавидеть, не человек, а зазубренная ржавость.

Ненавидел Мирон мягкое, трусливое, лживое и двусмысленное, а любил воздух, ветер, солнце, мороз, небо и – больше всего – чтобы мечта становилась фактом. Когда-то он тоже был мягким и сложным, но всё лишнее, ненужное из него вышибла – вместе с костяной крошкой – ледяная казачья сталь.

Открыв глаза и увидев поразительную картину – дуло пистолета и сияющие яростью женские глаза, – Шустер не удивился, потому что удивляться в новой жизни он разучился, и не подумал, что ему это снится, потому что железным людям сны не снятся. Устав от дня – есть ведь усталость и у металла – он закрывал глаза и открывал их безо всякого будильника во сколько назначено, полный новой силы.

Последний раз Шустер видел сон в августе двадцатого года.

Сон был такой.

Он шел по синему васильковому полю, щурясь от солнца и пытаясь разглядеть сквозь золотую канитель ярких лучей сестру Терезу, а она вела его куда-то, и манила за собой, и смеялась тихим счастливым смехом, и Мирон тоже смеялся,

а кроме них двоих во всем широком поле никого не было. Пахло карамельным клевером и девственной гречихой, небесная лава изливалась на лоб и стекала щекотными каплями пота, голова булькала раскаленными пузырьками сорокоградусного жара. Но Тереза протянула руку, коснулась Миронова лица, и он застонал от серебряно-ледяного прикосновения, и открыл затуманенные лихорадкой глаза.

Над больным склонялась санитарка, сестра Тереза, отирала ему лицо холодной мокрой тряпкой.

– Лубье то, пан, лубье то, – тихо приговаривала монашка, ее взгляд лучился нежной, ласковой и слабой женской силой.

Госпиталь расположился в монастыре под Жовквой, не успевшие сбежать сестры спасали свое целомудрие, ухаживая за тифозными больными. Мирон собирался помирать, но в палату внесла таз девушка в низко надвинутом белом куколе, он посмотрел на ее опущенные ресницы, и жизнь в нем встрепенулась.

Сестра Тереза еще омывала ему своей серебряной рукой горящий лоб, когда вдали раздался

заливистый свист, барабанной дробью раскатилась стрельба, через палату пробежал госпитальный комендант Кандыба с вывалившимися, как от базедовой болезни, глазами. Он кричал:

– Полундра! Яковлевские! Спасайся кто может!

Яковлев был есаул, двойной иуда. От белых он перешел к красным и командовал бригадой, а потом увел своих казаков, которые всюду следовали за ним, как волки за вожаком, к полякам и теперь рыскал по нашим тылам. За самоубийственным рейдом тянулся след из горящих деревень, изрубленных трупов и растерзанных женщин. Яковлевские знали, что пощады им нет, и тоже никого не щадили.

Тифозные стали спасаться кто может, а могло мало кто. Которые были без сознания, лежали себе, ни о чем не беспокоясь. Которые покрепче заковыляли вслед за Кандыбой, к черному ходу, где задний двор. Которые слабые по глупости прятались под кровати.

Шустер был слабым, но глупым не был. Опираясь о железную спинку, а потом о стену, он добрал до бельевого чуланчика и спрятался там за

свернутыми матрасами, похожими на цирковых борцов в полосатых трико.

Несколько времени было тихо. Потом в палате застучали каблуки, зазвенели шпоры, захрустела и зачмокала сталь, рассекая и протыкая мягкое. Умирая, больные не кричали, а только охали. Все, кто имел силу кричать, убежали во двор.

А только бежать им было некуда. Скоро Мирон услышал из-за своих матрасов недалекие крики. Выстрелов не было. Рубить людей веселей, чем стрелять.

Потом дверь чуланчика распахнулась, нежный голос сказал:

– Tu jeszcze jeden.

Умирать за матрасами Шустер не захотел и вышел. В узкой двери стоял бородатый человек с серьгой в ухе. В опущенной руке покачивалась, рассыпая блики, шашка. С ее кончика капали красные капли. Но Мирон смотрел не на своего убийцу, а через его плечо – в медовые, бесстрастные глаза сестры Терезы, и не мог разгадать тайны этого взгляда.

Клинок разрубил лицо и рассек черепную кость, но убить не убил, бородатому человеку не

хватило низкого потолка для хорошего размаха. Шашечная хирургия и медовый взгляд монахини навсегда ампутировали Шустеру все мягкие ткани души. Осталось только железо. И снов он больше никогда не видел.



* * *

– Ты кто? Белогвардейка? Троцкистка? – спросил Мирон, когда услышал слово «расплата», и прижал сердце рукой, потому что железный поршень изнутри заколотил в грудь. Не от страха, это глупое чувство навсегда осталось там, за полосатыми матрасами, а от готовности к рывку.

Тифозный человек защитить себя не может, иное дело человек здоровый, похеривший вредные для большого дела привычки и закаленный физупражнениями. Перед тем как нажать спусковой крючок стреляющий сужает глаза – Мирон не раз стрелял в людей, без дрожи, но знал, что усилие, отнимающее жизнь, сжимает веки. Он ждал, что вражеская женщина сощурится, и скрючил пальцы правой руки, чтоб в этот самый миг оттолкнуть дуло, и успеешь так успеешь, а не успеешь – сорок лет для жизни срок честный, обижаться не на что.

Но вышло лучше. Сияющие глаза не сузились, а опустились. Они глядели на серебряный перстень, который Мирон носил на указательном пальце левой руки.

Шустер презирал и серебро, и золото за мягкость, но перстень был особенный. Осенью

девятнадцатого по заданию ЦИКа Севкоммуну Мирон разбирал архивы Охранки и в деле подпольщика, застреленного в последний год старого века при попытке ареста, нашел кольцо, пришитое суровой ниткой и прилепленное сургучом к казенному картону. На изогнутом полумесяцем серебре чернела надпись TODO O NADA, по версии жандармского следователя это был условный знак, имевший конспирологическое значение. Мирон долго держал перстень на ладони, ему казалось, что кривая полоска старинного металла пульсирует горячей кровью человека, который не умел сдаваться. Когда в распределе сказали, что паек выдавать нечем, весь хлеб отправлен в ударные отряды, мобилизованные на борьбу с Юденичем, и предложили взять что-нибудь со склада вещдоков, Мирон попросил перстень и с тех пор с ним не расставался. Кольцо не давало забыть, что в жизни меньше, чем на TODO, соглашаться нельзя.

Шустер воспользовался тем, что вражина отвлеклась на серебряное мерцание. Правой рукой он вывернул дуло, левой ухватил свисавшую с женской шеи цепочку и притянул белогвардейку

к себе. Он уже понял, что это не троцкистка. У троцкисток не бывает красных лаковых ногтей и они не носят серебряных кулонов.

План был простой: вырвать «браунинг» и ударить в висок, где у человека череп тоньше. Буржуазных предрассудков насчет слабого пола у Мирона не было, враг он и есть враг, даже если враг – она. Девять лет назад, еще в ОГПУ, он участвовал в захвате знаменитой диверсантки ротмистра Марии Захарченко, которая ранила четырех сотрудников, а потом застрелилась.

Но случилось непонятное. Серебро перстня коснулось серебра кулона, и через сжатые пальцы Шустера прошел электрический ток, от которого онемела рука и, перестав качать кровь, остановилось сердце. В груди была горячая тишина, в голове зябкое непонимание. Мысли стало холодно, она заоченела, она стала не нужна.

Происходило что-то и с белогвардейкой. Она смотрела на Мирона стеклянным взглядом спящего с открытыми глазами человека, ее пунцовые губы приоткрылись и дрожали, меж ними влажно блестели зубы. Оцепеневший Мирон больше не сжимал дуло, и женщина могла выстрелить, но ее

пальцы разжались, «браунинг» ласково прошеле-
стел по одеялу и гулко упал на пол.

Шустеру вдруг вспомнился медовый взгляд сестры Терезы в миг перед тем, как блеснула, рассекая воздух, казачья сталь – но взгляд этой женщины был совсем не таким, в нем не было лукавого змеиного торжества, в нем была неподвижность, от которой на железного человека дохнуло давно забытым чувством, страхом, и железо захрустело. Сердце билось опять, быстрее прежнего, но металлического лязга не было, это было просто сердце.

Свет лампы делил женское лицо пополам, половина желтая, половина черная, и Мирон сел, чтобы разглядеть лицом целиком. Оно было не такое, как у всех женщин. К нему требовался определенный артикль, как в немецкой грамматике, это было *das* Лицо, единственное.

Он тряхнул головой, отгоняя чертовщину, и опустил руки. Что она ему сделает без «браунинга» – расцарапает физиономию?

Женщина сделала вот что: схватилась за серебряную половинку монетки, что висела на цепочке.

– Вы не смеее, – хрипловатым голосом сказала она. – Это его подарок. Он нашел на улице, на тротуаре, в самый первый день. И минуту спустя встретил меня. Он говорил, что нас свела испанская монета.

Шустер понял, что женщина бредит. Наверное, она была сумасшедшая. Это значило, что ее нужно не сдать в НКВД, а отправить в психбольницу. Обрадовавшись, Мирон спросил:

– Кто он? Вы про кого, гражданка, говорите?

Лицо, от которого нельзя было ни на мгновение оторвать взгляда, исказилось ненавистью и сразу стало понятнее. Ненависть Шустер уважал.

– Тот, кого ты погубил! – по-змеиному прошипела женщина, но на змею похожа не стала.

– Я много кого погубил, – ответил он, расстроившись, что все-таки надо звонить в НКВД.

– Статью про запечного таракана помнишь? Ты убил лучшего на свете человека, и ты убил меня.

– А-а, – кивнул он, успокаиваясь. Во-первых, НКВД не понадобится, дело тут не политическое, а личное. Во-вторых, половина непонятного разъяснилась. Осталась только вторая – про электри-

ческий ток и чертовщину. – Нельзя было допускать идеологическую диверсию. Сомнение в том, что́ на свете главней всего – как микроб, проникающий в мозг, размягчающий его изнутри. Чем микроб злей, тем он опасней. Роман был очень опасный, вредный для Дела. От страниц пахло гнилью. Для того меня партия и кинула на литературу, чтобы в умы не пускал гниль. И я не пущу, будьте уверены.

Он думал, она его не слушает. В ее глазах мерцала рассеянность и колыхалось смятение.

– Я не понимаю... – сказала женщина. – Я не понимаю...

Тогда Шустер сменил метафору. Он научился этой словесной технологии на работе в Сонарписе. Метафоры объясняют прямые вещи кривым языком, потому что людям кривое дается проще прямого.

– Мы сломали старый мир, мы расчищаем строительную площадку, чтобы возвести дворец завтрашнего дня. Весь мусор надо убрать, он мешает. Деревья, кусты, даже цветы красивы, но, если для стройки нужен котлован, бульдозер выскребет всё ненужное. Иначе стройка задержится, а может,

будет сорвана. Роман про колеблющегося Петра, написанный так, что каждый читающий готов трижды отречься, убежать от общественного в личное, а если вернуться – то единственно ради боженьки, это нож в спину. Это хуже, чем нож в спину...



– Я не понимаю, – повторила она глухо и горестно. – Ты ужасный, ты говоришь ужасное, на

твоих руках кровь, его кровь. Почему же, почему же с ним я не ощущала того, что ощутила сейчас... Господи, какая мука!

Женщина не договорила. Но теперь Мирон понял: это она про ток. И ответил по существу, заодно объясняя себе.

– Это жизнь, – сказал он. – В жизни всё надвое. Как это и это. – Он ткнул в ее кулон указательным пальцем, на котором серебрился перстень. И опять обожгло руку, и рука опустилась на тонкое плечо, и уже не могла от него оторваться. – Чувствуешь? Почему ты и я, зачем я тебе, а ты мне, никто не знает. Жизнь нас не спрашивает. Она берет за шкурку и кидает, как слепых кутят в воду. Хочешь – потонем каждый сам по себе. А хочешь – выйдем. Вместе. Потому что есть вещи, которые человек себе придумывает, а есть вещи, которые просто есть.

Он сам знал, что не очень складно сказал, но она поняла. Ответила деревянным голосом:

– Это невозможно. Я не только женщина, я человек, а у человека есть душа. Она надвое не делится.

– Поповская выдумка. Есть клетки, есть энергия, есть воля, а больше ничего нет, – с глубоким убеждением произнес Шустер, потому что так оно и есть, доказано.

Так же твердо она сказала:

– Ну, если тебе так понятней, мои клетки и моя энергия тянут меня к тебе, а моя воля их не пускает. И не пустит.

Да, это Шустеру было понятно. Он сделал усилие и убрал руку с ее плеча. Это было больно, как если бы он оторвал запястье от кисти, разодрав сухожилия, кровеносные сосуды и кости.

– Ты права. Сейчас не время для мягкого. Надо дожждаться победы в мировом масштабе. Тогда всё будет по-другому. Я умею ждать. А ты умеешь? Очень-то долго не придется. Мы скоро победим. По моему расчету, лет через пять, самое большое через десять. Будет огромная война. Фашисты с капиталистами уничтожат друг друга, одна гадина сожрет другую, и мир будет наш. Мы заколотим крышку прошлого, как гроб, и закопаем. Всё мертвое, страшное, смрадное ляжет в землю. И ненависть станет не нужна, останется одна любовь.

– Ничего этого не будет, – качала головой женщина. – А даже если будет, я никогда не забуду и никогда не прощу.

Но по ее глазам Мирон увидел: она хочет, чтобы так было. А значит, так и будет.

– Ты увидишь, какой мы построим мир. И ты поймешь: оно того стоило. Я тебя разыщу, если буду жив. И ты тоже живи. Всё у нас будет. Todo.

И он поднес к ее глазам сверкнувший мягким металлом перстень, чтоб она прочла надпись. Но тень отрезала половину девиза, и видно было только вторую его половину: NADA.

Часть пятая

СОСТРУГ



СЛУЧАЙ НА КУРОРТЕ

Дом отдыха

По неотвязной, въевшейся в шкуру привычке, доев второе, Крылов бережно собрал со скатерти в ладонь хлебные крохотки, ссыпал в рот, а к компоту из сухофруктов не притронулся, не любил сладкое. Знал из научных статей, что сахар необходим мозгу для спорой работы, ну так то сахар. Ел его по три чайных ложки в день, вдогон к рыбьему жиру и аскорбину, перехрустывал крепкими зубами, чудом природы. На торфе, после цинготной зимовки сорок пятого, у Крылова одного во всем этапе уцелели зубы, генетика что ли такая. Прадед

Истрат Трофимович, проживший девяносто лет, до последнего разгрызал грецкие орехи. Дед с отцом тоже были белозубые, но до лет, которые проверяют зубы на крепость, не дожили.

Другая вкоренившаяся привычка была не запоздниться – никуда и никогда, даже если постановил быть там-то во столько-то сам себе, безо всякой разумной надобы. Постановлено было с восьми тридцати до девяти ноль-ноль сидеть на террасе под горячим утренним солнцем. Это Крылов насыщал голод, накопленный в краю, где было темно, студено, и даже солнце было студеное – манкое, но лживое, не дающее ни тепла, ни радости, а только сулившее мýку, потому что работали от восхода до конца светового дня, и небесный свет был ненавистен: уйди, погасни, сука. Истое солнце, ленивое, щедрое, медвяное, как в детстве, вспоминалось будто что-то сверхмыслимое, навсегда сгинувшее – как многое, многое другое, чего вспоминать не нужно, не то ослабеешь нутряной злостью, и тогда каюк.

Утро было прозрачное, по-осеннему еще зорное, раннее, дальние горы голубели морщин-

ными изрезами и углубинами, небо наливалось до-отказной синевой.

Сидеть на откидном полотняном кресле, даже закрытыми глазами, через веки видя желто-яичный свет, было бы отрадно и бездумно, если б не две причины, маленькая и большая, побуждавшие Крылова пошевеливать короткими пальцами, которым нет бы безмятежно лежать на животе или свисать с деревянных подлокотников, они всё будто пытались ухватить и не отпустить что-то не-уцепное. Пальцы были беспокойные, злые, совсем не такие, как сам Крылов, внешне всегда полусонный, нервировавший соседей по столу своей не-приветливой молчаливостью, отвечавший на вопросы коротко, по большей части междометиями.

Первая, малая причина, мешавшая Крылову впитывать кожей солнечную благодать, были доносившиеся справа и слева разговоры – слева писательский, справа курортный. Ничего странного в разговорах не было, дом отдыха был курортным и писательским, но Крылова уютно устроенный домотдоховский быт почему-то раздражал. Крылов не замечал, что его вообще всё уютное раздражает, и очень удивился бы, скажи ему про это

кто-нибудь. Писательские разглагольствования про литературу он считал похабным трепом, все равно что молотить языком о том, как спишь с женой. Жены у Крылова впрочем никогда не было и ясно, что в 53 года она уже ниоткуда не возьмется, да и не надо ей браться; вся страсть, весь сокровенный сок у него уходили в книгу, а о ней что говорить? Или читай ее, если она тебе в душевный лад, или ступай себе, чужой человек.

Слева по-московски поквакивающий голос говорил – громче, чем надо было, чтоб слышал собеседник:

– Старик, ты один умеешь писать природу так, что не зеваешь со скуки, а просто раскрываешь рот и думаешь: «Ёлки, вот как, КАК он это делает, собака?». Я вчера тоже попробовал, по твоим лекалам. Вот послушай, получилось или нет...

Зашелестела бумага. Крылов, сморщив лицо, от чего глубокие приротные складки стали еще резче, отвернул голову вправо.

– Эх, не та стала Буба, – сетовал там пожилой тенорок. – Чего вы хотите – не Дубулты и не Пицунда. Раньше, – я еще застал – снабжение шло по высшей категории. По воскресеньям красную икру

давали на завтрак, порционно, честное слово. Шульженко выступать приезжала, Яхонтов «Молодую гвардию» читал. Неважно, что «Молодую гвардию», но Яхонтов! А теперь жрите макароны по-флотски и не выпендривайтесь.

Хоть уши затыкай. В первый и последний раз в жизни – стократно решено – Крылов взял в жилищотделе путевку. Не для отдыха, для дела.

И это была вторая причина, по которой пальцы похватывали пустоту, большая. Сегодня Крылов принимал солнечную ванну не просто так.

Террас в доме отдыха было две. Одна, всегда людная, выходила на море, другая – на поле и далекие, еще не по-настоящему кавказские горы. Крылов сел на второй – не только потому что солнце высвечивало оттуда, с востока, но и потому, что здесь проглядывались ворота. К девяти со станции голубой домотдыховский «рафик» должен был доставить новый заезд.

«Рафик» и приехал. Непроизвольно сжав кулаки, Крылов приподнялся на своем неудобном для сидения шезлонге и стал смотреть на вылезавших из микроавтобуса людей. Они были

оживленные, смеющиеся, ахающие на растущую перед входом пальму.

Последним вышел худой человек в очках и козыристой шапочке, какие носят иностранцы или те, кто хочет быть похож на иностранца. Лицо у худого тоже было нерусское: мосластое, носатое, закрытое в себе.

Человек поставил на землю чемоданчик с цветными наклейками, стал не спеша оглядываться. Пальмой не заинтересовался, а вот на террасу посмотрел внимательно, встретился взглядом с Крыловым, на секунду-другую замер и повел головой дальше.

Крылов тоже удержался, не кивнул.

Ему стало спокойно, пальцы больше не скрючивались.

С Юозасом Буткевичусом, каунаским поэтом, он раньше виделся всего раз. Тогда же обо всем договорились и потом не созванивались, не переписывались, но литовец сказал: будьте там-то такого-то числа – и не обманул, прибыл. А значит, с той же прибалтийской аккуратностью исполнит и остальное.

Полгода назад в Сонарписе был закрытый показ кинокартины про тридцать седьмой год, с последующим обсуждением. Съемки шли долго и трудно, монтаж затянулся, сдача откладывалась, а тем временем задули другие, морозные ветры. Полтора года назад такое еще выпустили бы, пускай третьим экраном, но после Праги тему «издержек культа личности» постановили безогласно свернуть. Вот фильм и сворачивали – не приказом сверху, а через творческие союзы: сначала кинематографисты, потом писатели и театральные деятели должны были признать работу художественно слабой.

Кино было и вправду слабое, про твердого ленинца, которого играл народный артист РСФСР. Он мужественно встряхивал чубом на допросе и бросал в лицо следователю, заслуженному артисту РСФСР, пламенные слова, а тот шипел и стучал кулаком – не по морде, по столу. Кончалась картина тем, как герой в сорок пятом возвращается с фронта весь в орденах и нашивках за боевые ранения.

Крылов вспоминал, как его в тридцать седьмом пропускали через «первичку», наливался

свинцом, потом плюнул, не стал досматривать. Он стоял в коридоре, двигал желваками, приходил в себя, когда из зала вышел еще один человек, яростно протирая очки. Взглянули друг на друга. Должно быть, очкастый, как и Крылов, моментально опознавал своего брата зека – по прищуре, по особому изрезу морщин, по волчиной затаенности взгляда.

– Ну не идиот я? – с небольшим мягким акцентом сказал человек. – Из Каунаса перся смотреть эту туфту. Выпьем?

Он был «урожая» сорок восьмого года, когда в порядке «профилактической работы по нацкадрам» мели размашистой метлой всех прибалтов. Пробыл семь лет в том же «Дальстрое», что Крылов, только еще восточней, на Кадыкчане. Хороший мужик, каждое слово у него было нелишнее. Наверняка и стихи писал такие же, да не прочтешь. На русский Юозаса не переводили, у них там для этого тоже свои ранги: кого переводить, кого нет.

Никому кроме машинистки Крылов о своей многолетней работе не говорил, это было нельзя, а тут от водки, от встречи с «дальстроевцем», от инстинктивного, неошибающегося доверия,

рассказал. Еще и совпало: как раз накануне вечером отдал в перепечатку последнюю «сцепу». Так назывались главы, потому что всё в жизни скреплено, как звенья на цепи, которая приковывает человека и страну к судьбе.

Юозас взял со стола недопитую водку, заткнул горлышко свернутой салфеткой, сунул бутылку в карман.

– Поехали к тебе. Покажешь.

До рассветного часа он шелестел бумагой, ерошил полуседые волосы, навалил целую пепельницу окурков, а Крылов то ходил по комнате, то открывал окно и дышал сырой мартовской ночью. Это был его первый читатель, если не считать машинистку Зину.

– Ну вот что, – сказал в шестом часу Юозас, потерев усталые веки. – Надо, чтобы это прочитали все. У тебя канал есть?

– Какой канал?

Крылов не думал про то, что делать с рукописью, ему просто надо было собрать материал, пока живы свидетели, надо было выплеснуть пускай не всё неохватное море страдания, но хотя бы малую его часть на бумагу, чтобы оно не выпарилось, не

ушло в безразличный воздух, как дым с безлюдного пепелища, потому что тогда всё впропад. Эта мысль была Крылову невыносима – что всё впропад. Десять лет он собирал по кровинкам, судьба к судьбе, свою летопись, и собрал. Кто-нибудь, пускай через пятьдесят лет, прочтет и узнает, как оно было. Так он про это думал, смутно.

А Юозас сказал:

– Ну тогда беру это на себя. Я в октябре поеду в Канаду, по нашей литовской линии. Неважно. И передам. А ты свой «Дальстрой», во-первых, перепечатай заново. На папиросной бумаге, без интервалов. Иначе мне не увезти. Надеюсь, ты сам печатаешь? Нет? Ты с ума что ли сошел?

Крылов объяснил про Зину.

– Боюсь, наследил ты со своими опросами, – покачал головой Юозас. – Галина Борисовна тебя если еще не унюхала, так унюхает. Всё, сиди тише воды. И со мной никаких контактов. Можешь получить путевку на конец сентября – начало октября в Бубу? Я собираюсь перед Канадой, мне по графику положено.

И всё. Полгода назад было, даже больше. И вот он, Юозас, день в день.

Поздно вечером сели на парковом кругу, где скамейки спинка к спинке, по две: Крылов лицом к танцплощадке, откуда неслась песня про последнюю электричку, Юозас – к аллее, прямо как связанные в шпионском кино.

– Подозрительного не было? В Москве, по дороге из Москвы, здесь? – спросил Юозас не здороваясь и глядя вверх, будто любовался южными звездами. – Никто вокруг не вертелся? Рукопись – как договорились? Отдельно?

Это тоже было в инструкции: с собой рукопись не везти.

– Отдельно.

– Хорошо. Завтра заberi. В девять вечера, когда все на танцульках или в кинозале, оставишь под этой скамейкой. Я буду смотреть издали. Подойду, возьму. Послезавтра из Каунаса придет телеграмма, и я сразу уеду. Всё, бывай.

И поднялся.

– У меня только этот один экземпляр, как ты велел, – волнуясь, сказал Крылов. – Всё старое я сжег. Если пропадет...

– Что ты как не «дальстроевский»? – пожал плечами Юозас. – Забыл главную науку? Что будет,

то и будет, а нервы дело зряшное. В любом случае, там (ткнул пальцем в звездное небо) твою книгу уже прочли. Мене, текел, фарес.

И пошел. Если бы Крылов умел дружить, с таким подружился бы. Но жизнь научила его, что целее быть самому по себе. Никто тебя не ранит, и ты никого не ранишь.

В «диксекторе»

Зина приехала раньше него, поселилась в «диксекторе» – так в приморском Ак-Соле называлось съемное жилье в частных домах, а постояльцы, «дикари», по сравнению с обладателями путевок и курсовок, были курортным плебсом.

В записке, оставленной для Крылова на домотдыховской вахте, знакомым убористым почерком был написан адрес: Алексея Митрохина, 14.

На пыльной, совсем деревенской улице – плетни, подсолнухи, беленые мазанки – он нашел нужный дом, спросил у развешивавшей белье хозяйки, здесь ли приезжая из Москвы, Зинаида Прокофьевна. Спрашивать, у себя ли она, не стал. Зина никогда никуда не ходила, только за папиросами и едой. Ни на пляж, ни на базар, ни на приморскую

эспланаду она уйти не могла, любопытства к жизни в ней совсем не осталось. Наверно когда-то было, да всё вышло. Крылов познакомился с ней семь лет назад, когда выпустил первую повесть и появились деньги на машинистку, и Зина уже тогда была точь-в-точь такая же: с мальчишески короткой седой стрижкой и вечно зажатой меж железных зубов «примой», скользнуть невнимательным глазом – старушка, а присмотреться – лицо-то нестарое, просто мертвоватое.

Ей не было еще и сорока, Зине. В пятьдесят втором ее взяли студенткой, по срочному групповому делу, когда следствию полагалось отчитаться к Октябрьским, сразу кинули на конвейер, потом что-то у них там переиначилось, и девчонку со смешным пятилетним сроком – пожалел кто-то или лень было возиться – сплавил в лагерь, и вышла она с первой же, еще булганинской волной, а голова седая, зубы выбиты, утроба отшиблена, детей не будет, так с тех пор и жила в комнатенке, зарабатывала на папиросы и чай с хлебом своим «ундервудом» с переделанными ятями-ижицами.

Зина поселилась в будке, которую хозяева поставили в саду для сезонного приработка, сдавать

«дикарям»: два окна, крашенные тусклой охрой дощатые стены.

Он постучал. Сказал: «Это я». Толкнул дверь, вошел.

Как всегда, когда не сутулилась над машинкой, Зина лежала на кровати – одна рука закинута под голову, в другой папироса. О чем думала, что вспоминала, Крылов не знал и никогда не спрашивал. У них разговоры были короткие, только по делу. Оба одного куста ягоды: не верь, не надейся, не проси. И не лезь в душу.

Здороваться у них тоже заводу не было – зачем?

– Привезла? – сразу спросил он.

Она кивнула, спустила на пол ноги – они были стройные, точеные, Крылов задержал на них взгляд – и тоже замедлилась, посмотрела на него исподлобья, вопросительно: ты как?

Никогда они об этом не говорили. Если происходило, то без слов, по такому вот взгляду.

Крыловское естество сразу откликнулось накопившимся голодом, качнуло вперед.

Кивнув, Зина потянула через голову клетчатую рубашку, она никогда не носила женского –

платьев, юбок, блузок, только дешевые «техасы», пятирублевые кеды.

Их любовь, редкую и оттого скорую, следовало бы назвать как-то иначе, они не любили, не ласкали, а будто наскоро, жадно урывали от жизни недоданную пайку, запихивая и глотая, пока не отобрали и не отогнали. Со стороны поглядеть на них, голых, шарящих руками, вминающихся друг в друга, было странно: головы у обоих старые, тела молодые. У Крылова, в его жухлые пятьдесят три, тоже – от непотраченности, от лесоповальной закалки, от навсегда сжавшейся, не распрямить, внутренней пружины.

Потом, как обычно, он ненадолго, может, на полчаса уснул. Зина, отодвинувшись, курила папиросу, смотрела на поскрипывающего зубами мужчину, и лицо у нее было такое, какого она никому, даже Крылову, никогда не показывала. А Крылову снился один из его обычных снов.

Они всегда были из прошлого, никогда из посторонней жизни. Прежний, прятавшийся в сумерках сознания Крылов, на свободу не вернулся. Остался с теми, кто за колючку так и не вышел, чьи

неглубоко зарытые кости год за годом прорастали жесткой таежной травой.

Сейчас он лежал на шконке, в мглистом пред-
рассветном бараке, боялся провалиться в дрему,
прислушивался, не скрипнет ли пол, не крадется ли
с заточкой Чоха, «ковырнуть кишку», посчитаться
за «позорный хипеш». Третью ночь нельзя со-
мкнуть глаз, надо гнать от себя накатывающую
черноту, и так до удара подъемного рельса, когда
барак зашевелится и до следующей ночи можно
будет не ждать крадущейся смерти.

Кончались сны всегда одинаково: железным
рельсовым ударом, от которого Крылов вскиды-
вался и садился.

Сел и сейчас, увидел профиль быстро отвер-
нувшейся Зины, сообразил где он и, как всегда при
пробуждении, обрадовался. Его бы воля – вообще
никогда не спал бы.

– Давай, – сказал он. – Забираю.

Она встала, прошла через комнатенку голая,
без стеснения, сзади похожая на юную девочку,
достала из своего солдатского, теперь таких уж по-
чти не осталось, вещмешка картонную папку с за-
вязками.

Открыв и прочитав название «ДАЛЬСТРОЙ. Быль» (имени автора не было), Крылов помедлил снова завязывать тесемки. Он подумал, что видит плод своей почти десятилетней работы, итог и суть всей жизни, в последний раз. Отдашь Юозасу, и всё.

«В одном экземпляре напечатала?» – хотел он спросить, но не стал. Зина бы обиделась.



– Денег дам? – сказал он вместо этого. – Ты, может, поживешь тут? В Москве дожди, холодно.

– Завтра уеду. Деньги есть, – ответила она.

Такой у них получился разговор. Три фразы произнес он: «Привезла?», «Давай. Забираю» и про деньги. Она произнесла одну.

И всё. Крылов вышел на желтую от пыли и солнца улицу. Папка с рукописью лежала в портфеле.

Задумался. Было шесть часов.

Вернуться в дом отдыха, к ужину? Обед от нервов пропустил, а теперь, когда получил рукопись, да после мужского дела, чувствовал острый голод, аж тянуло под ложечкой. Но идти в столовую с портфелем странно, привлечет внимание, а оставлять в комнате нельзя. Вечером заходит уборщица, и черт их знает, здешний персонал, не шмонают ли – просто из любопытства, а может и не просто.

Решил, что поест в общепите, на набережной.

Ресторанами Крылов себя не баловал – по привычке к экономии и от равнодушия к еде, верней к ее качеству. К еде-то он относился серьезно, с уважением. Она как бензин, не заправишься – не

поедешь, но что за разница, каков бензин на вкус? А вкус отшибли восемнадцать лет жизни, в которой вкус был не нужен. Есть что пожрать – уже счастье. Так вкус потом и не вернулся. Ел пересоленное и недосоленное, переперченное, даже подплесневевшее не замечая.

Он прошелся по эспланаде – этим красивым словом писатели называли длинную, в щербленном асфальте набережную пообочь моря – и выбрал едальню попроще, попустее и постеклянной, чтоб увидеть близкий уже закат. Кафе называлось «Романтика», было выстроено в давно сошедшей моде на якобы заграничную угловатую простоту, но окна шли от пола в потолок, и простор бухты, от белого утеса слева до черного справа, открывался во всей своей предвечерней золото-малиновой нарядности.

К Крылову долго никто не подходил, потом пришлось бесконечно ждать тефтелей с пюре, заказ без алкоголя был официанту неинтересен, а когда тарелку со снедью наконец принесли, еда была остывшая, но Крылов этого и не заметил. Глядел на горизонт, где в густеющем мраке растворялась черта между морем и небом, мерно двигал

челюстями, автоматически отсчитывая 32 движения – прочитал когда-то, что для хорошего пищеварения нужно не меньше, и вдруг почувствовал сбоку, шеей, чей-то неотступный взгляд, была у него эта волчья затравка, с лагеря, когда глаза на затылке могли спасти жизнь.



Мгновенно собравшись, но не перестав жевать, чтобы наблюдающий не заметил тревожности,

Крылов первым делом скосил глаза на портфель, потом резко повернулся, цапнул воздух пятерней, будто хотел ухватить назойливую муху. Жирные осенние мухи и правда жужжали над столиками, садились на недоеденное.

Смотрела молодая женщина, скорее даже девушка, сидевшая справа, через два стола. На первый взгляд она была чем-то похожа на Зину, тоже тонкая, коротко стриженная, в синих обтягивающих штанах и клетчатом верхе, но только на первый. Зина одевалась в дешевое и немаркое, что продается без очередей, а корнала себя сама, ножницами, меж двух зеркал. У этой же горностаевый контур прически был модельный, одежда сидела с несоветской ладностью, никак не «Мосшвея», не фабрика «Большевичка». Красивое у девушки лицо или нет, Крылов сказать затруднился бы. Ему все молодые женщины кроме совсем уж уродин казались красивыми. Женщины вообще красивые. Когда в леслаге, где он чалился последние два года, мимо строя проходила женщина из поселка, любая женщина, все поворачивали головы, Крылов тоже. Будто мимо проходит другая жизнь.

Эта, встретившись с ним глазами, не сделала вид, будто посмотрела случайно, а улыбнулась.

Улыбка была загадочная, непонятного назначения. Шпики этак не улыбаются, да и не служат у Галины Борисовны девушки, похожие на горностаю.

Успокоившись, Крылов хотел от джоконды отвернуться – хочет улыбаться, пускай, какое ему дело, но девушка еще и кивнула. Знакомой при этом она не была, Крылов своей цепкой памятью запомнил бы. Читательница, подумал он.

Его редко, но узнавали – по фотографии на обложке «роман-газеты», где по прежним, оттепельным временам напечатали его первую повесть, давно уже не переиздававшуюся. Иногда подходили на улице, особенно в Москве, но он всегда говорил: «Вы ошиблись», потому что мучительно стеснялся, разговаривая с читателями. Писать было занятием интимным, говорить про которое все равно что заголяться. Он и от публичных выступлений отказывался – когда еще звали. Теперь-то нет, давно уже. И слава богу.

Он поскорее отвернулся, да поздно. Джоконда уже встала, шла к нему, и улыбалась всё так же непонятно.

– Чем смотреть друг на друга, давайте лучше познакомимся, – сказала девушка. Вблизи

оказалось, что она похожа на актрису из фильма «Алые паруса», который Крылову не понравился своей слащавой фальшивостью. А актриса понравилась. – Я Фелиция. А как зовут вас?

Не читательница, понял он и раздражился на себя за то, что это его немножко, но задело.

– Вы всегда вот так подходите к незнакомым людям? – неприязненно спросил он.

– Всегда, когда лицо кажется мне интересным. – Нет, она не улыбалась. Это у нее, кажется, был такой рисунок рта, с чуть приподнятыми уголками, и слегка прищуренный, как при улыбке, взгляд. – Но это очень редко случается.

Клеится она ко мне, что ли, подумал Крылов. Не может быть. Я для нее старый, и по мне видно, что не богач. По автоматической писательской привычке взял этот подходец на заметку: пригодится, если понадобится описать, как ловкий, но пошловатый пижон подкатывается к женщине.

А все же не удержался, спросил:

– Чем это оно интересное? Лицо как лицо.

– Можно я сяду? – спросила девушка Фелиция. Не дожидаясь разрешения, подвинула стул, села.

Странные у нее были глаза, будто что-то рассматривающие или нащупывающие.

– Глаза у вас странные, – сказала она. – Как у рыбы в аквариуме, когда она глядит через стекло. И губами так же шевелите, беззвучно.

Он знал за собой эту привычку: задумавшись, проговаривать мысли. Должно быть, когда она его рассматривала, тоже сам с собой разговаривал.

Сравнение с рыбой было хамством, Крылов такое спускать не привык и ответил грубо:

– А вы, барышня, похожи на муху, которая зудит и мешает думать.

Еще и рукой помахал, как давеча: брысь, брысь.

– Вы зря обиделись на рыбу. Я очень люблю рыб. Мое самое первое воспоминание – рыба, – сказала она, глядя на него всё так же пристально. – Темная вода, очень тихо, и большая-большая толстогубая рыба шевелит усами. Я только потом, не скоро, узнала, что такая рыба называется сом.

Он растерянно посмотрел на нее, а она спокойно, доверительно продолжила.

– Мне два года было, и я, конечно, ничего другого не запомнила, но рыба, кажется, была на

самом деле. В сорок первом, осенью, эвакуировали ясли через Ладогу, бомба перевернула катер, все утонули, спаслась только я одна. Меня на берегу подобрали. Наверно, пошла ко дну, там и увидела сома. А потом вода меня вытолкнула, так бывает, и волной отнесло к берегу. Маленькие дети легкие. Но только меня. Поэтому меня и называли Фелиция, это значит Счастливая. Настоящего имени ведь я сказать не могла. У нас в детдоме директор был из «бывших», знал латынь и греческий. Он мне и фамилию придумал красивую: Победина. Тогда все про победу мечтали. Ну вот, видите, сколько вы про меня уже знаете. А я про вас ничего.

Ей тридцать один, подсчитал Крылов, просто очень юно выглядит. Почему-то это было приятно, что она не очень молодая.

После такого рассказа гнать собеседницу как муху – а это была уже собеседница – было невозможно.

– Я Крылов, – сказал он.

Всегда представлялся только фамилией. И все его так называли: Крылов, не по имени. Тоже старая арестантская привычка. Когда тебя восемнад-

цать лет окликают только по фамилии, или по номеру, или просто матюгом, отвыкаешь от имени. Будто кого-то другого звали Ильей, Илюшей. Какой к лешему «Илья-Илюша»?

– Крылов, – повторила она, словно пробуя на язык. И еще раз: – Крылов. А кто вы? У вас такой вид, словно вы занимаетесь чем-то таинственным.

– Вовсе нет. Я филолог.

Говорить про себя «я писатель» он стеснялся. Все равно что сказать: «я Лев Толстой» или «я Чехов».

– А чем занимаетесь вы, Фелиция?

– Всяким таинственным, – ответила она и теперь уже улыбнулась по-настоящему, не по-джокондовски, а так, будто они знали друг друга давным-давно и у них имелись свои шутки, понятные и памятные обоим. Ее глаза были опущены, смотрели на крыловскую руку, что лежала на скатерти, поблескивая кольцом. – Ну то есть профессия у меня обыкновенная, я чертежница, но работаю я в секретном, а стало быть таинственном КБ, про которое, согласно подписке, рассказывать не могу. Оно связано с космосом. Я люблю космос.

Крылов смотрел на Фелицию Победину, которая чудом спаслась в сорок первом и любит космос, испытывая шевеление в груди. Будто там задыгался кто-то живой, посторонний. Ощущение было нехорошее.

Надо было срочно заканчивать этот ненужный разговор. Пока не начала распрямляться туго сжатая пружина. Потому что незачем и нельзя.

– Мне пора, – отрывисто сказал Крылов, поднимаясь и кладя на стол две рублевые бумажки. Он наел на рубль двадцать, привычки оставлять на чай не имел, да и не за что было, но надо было скорее уходить.

– Может быть, мы еще увидимся, и вы расскажете про филологию, Крылов, – сказала ему вслед Фелиция, произнеся фамилию так, словно это было имя.

Он, не оборачиваясь кивнул.

Бормотал «чушь, бред, старый идиот», сопел, сердито потряхивал головой. Минут пять это продолжалось, а потом усилием воли прогнал из головы пустошное, он это умел.

До встречи с Юозасом оставалось больше полтора часов. В номер Крылов не пошел, что там

сидеть? Несколько раз прошагал туда-сюда эспланаду своей размеренной, неторопливой походкой, время и прошло. Глядел не на гуляющую под фонарями публику, а на темное море, думал про то, как рукопись отправится туда, где он никогда не был и не будет.

А без двадцати девять, с запасом, повернул с набережной в сторону дома отдыха.

КМС

Короче было идти через приморский парк. Днем там гуляли мамы с детьми, а к вечеру становилось пусто.

Крылов шел, помахивая портфелем, сердце сжималось от мысли, что сейчас, совсем скоро, то, чем он жил столько лет, *ради чего* жил, а может быть вообще – ради чего родился на свет, оторвется от него и заживет собственной жизнью или, страшно подумать, сгинет, и тогда окажется, что серая равнодушная агачинская тайга была права: всё низачем, всё беспмятно, всё без смысла.

Из-за кустов вышли двое, повыше и пониже. Лиц в тусклом свете звездного, но еще нелунного неба не разглядеть.

– Стопори, папаша, – сказал тот, что пониже. – Лопатничек, котлы давай, а то чики-чики.

И блеснуло у него что-то в руке, и сразу всколыхнулось из памяти: пермская пересылка, первый блатной шмон, уставленное в бок «перо».

Второй общупал, обхлопал, выдернул из заднего кармана бумажник, схватил за запястье левой, сорвал ремешок часов, увидел на безымянном кольцо.

– О, перстак! Серебришко!

– Не тронь! – крикнул Крылов и получил под дых удар, от которого согнулся пополам.

Из правой руки вырвали портфель, и тут уж, сквозь боль, на застрявшем под ложечкой дыхании, не в силах разогнуться, он прохрипел-простонал:

– Там нет ничего... Только бумаги... Оставьте их! Всё берите...

Но стукнуло в затылок – тяжело, гулко, не иначе кулаком со свинчаткой, и Крылов подавился мольбой, на миг почернело, а потом он увидел прямо перед глазами асфальт, который покачивался, как палуба. Всё поплывало, звуки доносились будто издали.

Он лежал, над ним стояли двое, рылись в портфеле.

Потом послышалась быстрая поступь, будто набегал кто-то легкий, стремительный. Схватив себя за виски и зажмурившись, чтоб прекратить качание, Крылов открыл глаза и увидел, как колышались и сшибаются тени. Что-то кряхтело, ухало, трещало, что-то тяжело рухнуло, потом еще раз. И стало тихо.

Над оглушенным, освинцовевшим Крыловым кто-то наклонился, напряженный женский голос спросил:

– Вы ранены?

Он увидел, близко, лицо Фелиции, оно единственное во всем расплывающемся, шатком мире было четким.

– Моя книга, – засипел Крылов, садясь. – Где рукопись?

Она подняла с земли папку с развязанными тесемками, протянула. Трясущимися руками он схватил папку, прижал к груди и лишь теперь посмотрел вокруг. Увидел, что те двое лежат, один навзничь, другой ничком. У того, что навзничь, разинут рот.

– Как это вы их? – спросил ошарашенно Крылов. – Одна? Двоих бандитов?

– Самбо, – объяснила Фелиция, отшвырнув ногой нож и ощупывая тому и другому карманы. – Я КМС.

– Кто?

– Кандидат в мастера спорта. – Вынула что-то, поднесла ближе к звездному свету узкую книжечку. – Это не бандиты. Комитет государственной безопасности. Что им от вас нужно?

У него прошло головокружение, будто и не было, но стало очень холодно, даже зубы застучали.

– Вот это... – Он потерянно уставился на рукопись. – Они знают... Нет, если бы знали, арестовали бы... Подозревали, хотели проверить... Надо предупредить... – Он проглотил имя «ЮОзас». Испуганно поднял глаза. – Господи, а с вами что будет? Когда они очнутся, они...

– Ничего не будет, – спокойно сказала паразитальная Фелиция. – Скажут, что сорвалось, что они вас не встретили. Иначе им начальство голову оторвет за то, что их баба уложила. Но надо уходить, и быстро.

Она помогла ему подняться на ноги, сунула бумажник, часы, а перстень отдала не сразу, с минутой – они уже шли – держала на ладони.

– Какое необычное кольцо. Давно оно у вас?

Крылова часто спрашивали, и он всегда отвечал невнятное, но сейчас сказал:

– Это отдельная история. Я потом расскажу. Идите скорей, у меня встреча.

Про Юозаса они не знают, думал он. Неоткуда. Нужно скорей передать папку.

– Ждите меня здесь, – сказал он, когда дошли до ворот дома отдыха. – Я быстро.

По аллее, в сторону поджаженной арнобабаяновской музыки, тянулись подзапоздавшие к началу танцев «сописы» и «члесеписы», оживленно переговариваясь; попахивало духами, выпитым за ужином вином – пушисто-кроличьей, навек очужевшей Крылову жизнью, но он не испытывал всегдашнего раздражения, он вдруг почувствовал, что завидует этим беспечным людям, что тоже хотел бы просто жить, радуясь маленьким, легко ухватимым добычам и не ворочая в памяти смерзшимися глыбами. Когда-то, в лагере, мечтал как о несбываемом счастье просто сидеть в теплой

комнате одному и пить чай, или ходить по улице свободно, куда захочется, или вставать утром не по удару рельса. И вот всё это сбылось, но оказалось не счастьем, а просто удлиннившейся цепью, которая все равно прикована к будке, не отпускает и не отпустит.

Увидел сбоку, в беседке Юозаса (огонек сигареты выхватил из темноты блеск очков) и успокоился, сердце забилося ровно. Сел на оговоренную скамейку, дождался, чтоб мимо никто не шел и положил на землю, поглубже, вытащенную из портфеля папку.

Проходя в обратную сторону, увидел, как поднимается Юозас.

Всё. Дело сделано. Дальше – как судьба.

Оставалось еще одно.

Он прошел вестибюлем, помахивая портфелем так, словно тот был не пустой, а с весом.

В номере вынул из чемодана так еще и не притронутую рукопись романа про Циолковского, под работу над которым и получил путевку. Роман был легальный, по издательскому договору. Пускай шмонают. Решат, что ошиблись, получили неправильную информацию. Знать бы, откуда.

Скорее всего от бывшего эмгешника, с которым случайно разговорился в сонарписовской столовой. Тот выпустил какие-то смершевские мемуары, ходатайствовал о членстве. Когда впроброс помянул, как в сорок девятом инспектировал дальстровские объекты, Крылов, конечно, не мог в него не вцепиться. Учуял что-то, вертухайская тварь.

Вот теперь можно было думать про Фелицию. Он и попробовал, когда спускался по лестнице, когда шел к воротам. Но мыслей никаких не было, только шаги делались всё быстрее. Вдруг ёкнуло: а что, если ее нет? Исчезла в никуда – так же, как появилась ниоткуда.

Но на каменном парапете, прислонившись спиной к решетке, сидела крыловская спасительница, смотрела вверх, на звезды, ждала.

Надо же, космос любит, подумал он. Что ей космос?

– Так вы обещали рассказать про кольцо, – сказала Фелиция, поднявшись и отряхивая сидище своих заграничных штанов.

– Что? А, про перстень. Куда бы нам...

Он в нерешительности посмотрел вокруг. Пойти в кафе? Это во французском кино сидят

в уютном полумраке, тихо мурлычет музыка, и мужчина с женщиной ведут полную скрытых смыслов беседу, но Ак-Сол не Монмартр. Тут есть «Поплавок» с алкашами, «Чайка» с истошно орущим ВИА, та же «Романтика» с запахом тефтелей, а в более-менее приличном «Якоре» перед входом всегда хвост.

– Да просто сядем вон там.

Она показала на скамью под фонарем.

Сели.

– Перстень... – Он поднял руку, глядя на неровную полоску серебра с черными, старинными буквами. Надпись когда-то перевел ему бывший доцент романо-германской кафедры, лежащий сейчас нетленно в вечной мерзлоте. – Это пахучая история. Вам вряд ли понравится. Но обещал – расскажу... Сидел я в тридцать седьмом на Хуторе. В Бутырской следственной тюрьме, – поправился он. – Жуткое место, а я только что взят из студобщежития, свеженький. Двадцать лет мне. Камера на сорок з/к. Разместили меня, как водится, около параши. Просыпаюсь ночью от скреба. В поганой бадье, согнувшись, человек рукой шарит. Достал

что-то, вытирает о рукав. Я же предупредил: история пахучая.

Фелиция слушала не мигая, только кивнула.

– Увидел, что я проснулся. «Тссс, парень, – шепчет. – Ты кто?». Сел ко мне на шконку. Что от него несет, я не чуял, привык к этому, подле парашито. Я ему рассказал, мне надо было выговориться. Там под потолком всегда лампочки горели, зарешеченные. Даже ночью. Лицо у него было страшное. Синяк сплошной, глаз смотрит только один. «Ну, за это тебя не расстреляют. Десятку влепят. Не будешь себя жалеть – может, выживешь. Меня-то завтра того». И засмеялся, щербатым ртом. «Поминай, говорит, меня лихом. За что боролся, тем и пропоролся. Шустер моя фамилия. А это, говорит, тебе. Мне больше не понадобится. Я в мистику не верю, но от этой штуковины в душу сила идет. Вот подержался за нее, и мне завтрашнее трын-трава. На пальце не носи, перед шмоном глотай. После достанешь». И дал мне вот этот перстень. Не знаю, сколько раз я его потом через свои кишки пропустил и из дерьма достал.

Он нарочно поглубже сказал, чтоб она поморщилась, отодвинулась, и перестала на него

смотреть своими вроде бы улыбающимися, а на самом деле нет глазами.

Но она не отодвинулась, только смотрела не на Крылова, на перстень.

Сказала:

– Ничего отвратительного в работе человеческого желудочно-кишечного тракта нет. Физиологический инстинкт отвращения к отходам заложен в людей природой, чтобы исключить возможность вторичного пищеиспользования.

Он засмеялся. Она была смешная, со своей научпоповской назидательностью.

Женщина тоже рассмеялась, подняв на него глаза. Этот-то смех, легкий, безбедный, разом отогнавший муторное воспоминание, Крылова окончательно и подломил.

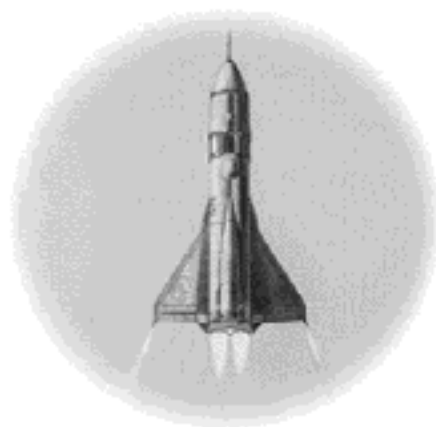
Он понял, что с ним происходит плохое, страшное, чего внутренне боялся, от чего берегся: соструг души.

Душа у него была, как обросшая мхом и коростой времени деревянная колода, ничем не окарябаешь, не достанешь, вся в защитных наростах. Но женский смех и всё случившееся раньше этим проклятым вечером, пришлось по корявой, задубелой

поверхности острым, безжалостным струганком, и душа обнажилась, засочилась живыми каплями.

– Это соструг, соструг... – растерянно пробормотал вслух Крылов, сам себя не слыша.

– Соструг? – изумленно повторила Фелиция, немного странно выговорив чудное слово – свистяще на «с», переливчато на «р» и как бы раздельно: «ссо-sstrруг». – Откуда вы про него знаете?!



КОМАНДИРОВКА

Глава 1. Оператор

У капитана Гуменюка было квадратное непроницаемое лицо, похожее на закрытое ставней окно. Обычно лицо не выражало никаких чувств. Но вот в ставне засветились две узенькие прорези – это открылись глаза. Свет, который из них заструился, был мутен.

Глухо застонав, Гуменюк сел, с недоумением потрогал середину широкого лба. Там ныла и жглась точка, будто кто-то погасил о кожу окурок. В следующую секунду Гуменюк всё вспомнил, вскочил, огляделся. На темной парковой аллее никого не было, если не считать лейтенанта Шарфутдинова. Тот лежал на асфальте ничком, раскинув руки.

– Саня!

Гуменюк перевернул напарника, увидел, что жив, и двумя сочными оплеухами привел его в чувство.

– А? – спросил Саня, захлопав глазами. – Чего это было, старшой?

Шарафутдинов был неплохой парень, шустрый, старается, но первый год в СОНе, зеленый еще. Даже еще не оперативник, а опер. Себя Гуменюк называл «оператором». Потому что руководил операциями. В том числе хирургическими, большой сложности.

– То, чего мы с тобой не ждали и к чему готовы не были. Вставай, мать твою!

Дернул за руку, помог подняться.

– А чего мы не ждали? – Саня тоже взялся за лоб, скривился. – Чем это она меня? Кто она вообще, Победина эта?

– Вот это мы сейчас и выясним. За мной, бегом!

Оператор взял разгон, перешел на стайерский бег. Опер не отставал, с физподготовкой у него было лучше, чем с соображением.

Крепкие парни неслись по вечерней улице, перекрикиваясь на бегу. Дыхание у обоих не сбивалось.

– Резидентурой тут пахнет, вот что! – кидал капитан рваные в такт длинным антилопьиим скачкам фразы. – Подготовочка у нее, а? ...Это не карате, не кунгфу... а хрен знает... Ты запрос по «эсэс» послал? «С.С.» означало «сверхсрочно».

– Как приказано. Так что же это... объекта забугор ведет? – скумекал Шарафутдинов. – Нихренасе!

– То-то что «нихренасе».

Операция получалась другого масштаба и замеса, не на двоих сотрудников и не капитанского калибра, какой оператор-разоператор Гуменюк ни будь.

Речь ведь о чем шла?

Поступил сигнал, что возможно готовится идеологическая диверсия а-ля «Доктор Живаго». СОНу, Службе оперативного наблюдения провести проверку и, если данные подтвердятся, изъять. Без шума и пыли, деликатно – потому что известный на Западе писатель.

Поводили объект по Москве, произвели негласный обыск на квартире. Ничего. Тут он вдруг засобирался на юг, чего никогда прежде не делал. Поехали в том же поезде. Проверили багаж. Ничего.

Но у Гуменюка было чутье и терпение спиннингиста. Ходила там, в темной воде, рыбина, ходила. Неспроста «Угрюмый» (оперативное обозначение объекта) на курорт отправился. Он не из загорающих-в-домино-играющих, Угрюмый. Давно в разработке.

И вот сегодня леска задергалась, пора было крутить катушку.

В 16.08 Угрюмый покинул территорию дома отдыха с портфелем в руке. По тому, как помахивал, было видно, что пустой или почти пустой.

Вели по очереди, сменяясь. И на перекрестке Митрохина-Краснофлотская, в 16.27, лопух Шарфутдинов объекта прозявил. На улице было пусто, не хотел светиться, отстал, а выглянул за угол – Угрюмый как сквозь землю. В какой-то из дворов на Митрохина зашел, не то в номер 14, не то в 16, а мог, если прибавил шаг, и дальше.

Выматерил Гуменюк лейтенанта. Заняли позицию в кустах, стали ждать.

В 18.02 Угрюмый вышел из дома 14 (потом разработать, пометил себе капитан), и портфель у него был уже не пустой, а стало быть – клюнуло!

Дальше интересно.

Назад в Д.О. писатель портфель не понес. Походил-походил, будто дожидаясь назначенного времени, – и на набережную. А там сел в кафе «Романтика».

Напарники вошли поврозь, стали вести наблюдение. Объект портфель на стол положил, еще и локтем придерживал, будто там у него сокровище. Это обнадеживало.

Потом подсела молодая женщина. Гуменюк подал условленный сигнал: пошевелил указательным и средним пальцем, что означало «установить личность». По этой части Шарафутдинов был талант.

Прошел мимо столика как бы в уборную, снял со спинки стула дамскую сумочку. Через пару минут, возвращаясь, так же незаметно вернул.

Похоже, однако, что женщина была случайная. Ничего ей Угрюмый не передал, да и смотрел

на нее, как на чужую. Говорил неохотно и довольно скоро ушел, не обернувшись.

А всё же пробить по базе было нужно. В центральной конторе теперь ЭВМ, здоровенная машина, триумф советской науки. Мигает лампочками, жужжит, обрабатывает миллион данных в минуту. Имя у женщины было хорошее, редкое: Победина Фелиция Аполлоновна. Машина ее быстро локализует.

Пока Угрюмый утюжил набережную, будто ждал там кого-то, а Гуменюк его пас, Саня сгонял в местное отделение милиции. Там с прошлого года, когда в пансионат «Дружба» стали завозить группы из соцстран, работал прикрепленный сотрудник, а у него спецсвязь.

К нему, к старшему лейтенанту госбезопасности Круглову, оператор с опером сейчас и бежали.

– Ну наконец-то! – кинулся им навстречу Круглов. Он стоял на крыльце, под синей табличкой, нервничал. – А то я прямо не знаю, то ли вас ждать, то ли...

Оглянулся на кутившего здесь же милиционера.

– Давайте за мной!

Еще в коридоре, не утерпев, громким шепотом начал:

– Обалдеете! Помните лет десять назад история была, в газетах писали. Про группу студентов, которые пропали в лыжном походе, на Северном Урале?

– Конечно, помню. Их потом нашли мертвыми, и лица у всех оранжевые, – кивнул Гуменюк.

Даже Шарафутдинов помнил, хотя еще пионером был. Всех тогда эта тайна интриговала. Потом, кажется, установили, что студенты погибли от снежного завала, а пигментацию объяснить так и не смогли.

– Так нате, глядите. По фототелеграфу пришло. «ПОБЕДИНА, Фелиция Аполлоновна. 1939 (точ. дата не уст.), Ленинград – 15.02.1960 (см. дело ЧП-1784г)», – прочитал Гуменюк.

– Я само собой – запрос, что за дело такое. А это расследование о гибели уральских студентов! Победина Фелиция Аполлоновна 1939 гэрэ – одна из них! Мертва и похоронена! Десять лет назад!

Ужасно возбудился старший лейтенант Круглов, закисший в Ак-Соле со своими болгарскими и польскими отдыхающими.

А Гуменюк не возбудился, лишь удовлетворенно кивнул.

– Что и требовалось доказать.

Пояснил младшим товарищам:

– Обычная практика западных спецслужб при запуске нелегала. Берут данные реального человека, покойника, и сооружают легенду. – Присвистнул. – Серьезно мистеры к нашему Угрюмому относятся. Агентка-то экстра-класса... – Немного подумал. – Ну-ка, выйдите оба. Не вашего допуска уровень. С Конторой буду говорить.

Глава 2. Кондуктор

Восемь дней ее здесь не было. Всего восемь дней прошло с тех пор, как была зима, был снег, и они сидели в большой брезентовой палатке, сшитой из двух поменьше, тесно, плечом к плечу, голубел огонек спиртовки, они пили чай, хохотали над Мишкиным анекдотом, и вдруг колыхнулся полог, дрогнула земля, качнулись рейки-опоры, накатил утробный рокот, и Егор, старший группы, закричал: «Лавина! Ноги, ноги! По склону вниз!», и Фелиция на четвереньках выползла наружу, в темень, побежала под гору, по мерзлому насту как

была, в шерстяных носках, хватая ртом ледяной воздух, и впереди вспыхнуло оранжевое, слепящее, а потом ничего не было, потому что она умерла и все они, девять человек умерли.

Но смерть – явление локальное. На Земле она есть, а на Кротоне ее нет, потому что динь-атом, который индусы называют «атмой», умирает, а верней дематериализуется, только если не обретает альтернативного вместилища. На Кротоне динь-атом каждого, со всеми происходящими в нем переменами, дублируется в так называемом «облаке», и смерти нет, все бессмертны и условно вечны. Условно, потому что от долгой жизни, говорят, устаешь, и тогда динь-атом существует только в «облаке», дремлет там без тела не видя сновидений. Некоторые виры перед уходом оставляют завещание: вернуть меня через столько-то лет. Другие прощаются навсегда. Существует теория, пока неподтвержденная, что от очень долгой дезактивации динь-атом перемещается из облака в какое-то иное измерение, но это пока только гипотеза.

Туристам там, на дикой, лесистой горе не повезло – то есть наоборот сказочно, феноменально повезло. В этом пустынном месте, в безлюдное

зимнее время, раз в неделю приземлялся космолет с Кротона, и группа угодила точнехонько под выброс посадочного тормоза.

Такое хоть редко, но случалось – когда по непредвиденным техническим причинам погибал кто-то из землян. Экспедиционный устав предписывает эвакуировать пострадавшего на Кротон, что было сделано и в этом случае. В снегу остались наспех изготовленные биомуляжи. Из-за того что наспех, переложили пигмента, кожа получилась оранжевой. Это Фелиция потом узнала, когда готовилась к обратному путешествию. Остальным ребятам всё, что происходит на Земле, стало совсем неинтересно – как бабочке нет дела до куколки, из которой она выползла.

Новая жизнь, захватывающая и многоцветная, поглотила их полностью. Словно ты плескался в грязной луже – и вдруг попал на океанский простор. Одна только Фелиция через неделю, по окончании адаптационного курса, когда ее спросили, чем она желала бы заниматься, сказала: хочу быть кондуктором.

Кондуктор – это бывший землянин, который специализируется на контактах между своей новой

родиной и старой. Таких добровольцев немного. Подавляющее большинство вспоминают земную жизнь с содроганием, как дурной сон, и целиком погружаются в кротоновскую реальность, хотят как можно быстрее стать полноценными вирами.

Фелиция же всегда жила и помнила тех, кого помнить не могла, но про которых знала, что они были: остальных ясельных, кто остался на дне Ладоги. И сейчас всё человечество, все эти несчастные, незрячие, тонущие в темной воде три миллиарда, даже не догадываясь, что можно существовать по-другому, казались ей младенцами, которых бросить нельзя. И она пошла в кондукторы. За один день прошла обучение – и отправилась в обратный путь.

Надо сказать, что год на Кротоне тоже состоит из двенадцати Лун (зеленый спутник в память о прежней планете виры назвали тем же именем), но время идет в ином темпе, и за время одного лунного цикла, одного месяца, на Земле проходит 36 лет. Поэтому за неделю с хвостиком Фелиция узнала, поняла, изучила столько, на что землянину не хватило бы всей жизни, а восемь кротоновских

дней равнялись десяти земным годам. Дематериализовалась Фелиция в 1960 году, а вернулась в 1970-ый. С заданием.

Глава 3. Энергизатор

Когда-то давно, на земной счет двести тысяч лет назад, а по-критоновски с тех пор миновало четыре с половиной века, виры жили на Земле. Они создали развитую цивилизацию с мегаполисами, небоскребы которых поднимались на несколько километров в небо, с неиссякаемыми запасами замороженной пресной воды, главного сокровища планеты, с искусственным утеплением из паровой шубы. Современное человечество и не догадывается, что разрушившиеся небоскребы, покрывшись космической пылью, превратились в горные хребты, ледяные шапки на полюсах – остатки водных резервуаров, а облака и тучи, согревающие Землю, были когда-то запущены из специальных гигантских установок.

Но цивилизация виров была больна анэтикой. Этим термином обозначается эволюция, при которой интеллект и технический прогресс опережают

развитие динь-атмы, по-земному души, и милосердие еще не считается наивысшей ценностью.

Из-за неосторожных экспериментов по достижению физиологического бессмертия (как доказала впоследствии наука, дело это невозможное и главное ненужное), возник вирус, который поражал мозг. Заболевший терял память, его интеллектуальные способности стократно ослабевали, он разучался делать самые элементарные вещи, даже соблюдать личную гигиену. Эпидемия не поддавалась лечению. Зараза распространялась воздушным путем, и все медики, пытавшиеся что-то делать, заражались сами.

Тогда было принято кардинальное решение: эвакуировать всех незараженных на недавно обнаруженную планету Кротон, природные условия которой почти в точности соответствовали земным, нужно было только подправить состав атмосферы и очистить подкорные воды. В день Великого Исхода пятьсот двенадцать космолетов, на каждом по сто пассажиров, улетели прочь, а больные остались, и в большинстве своем погибли, выжившие же мутировали и со временем превратились в Homo Sapiens.



Эта история, которую детям планеты Кротон рассказывают в первом классе, является стыдом и вечным укором для миров. Первая статья Основного Закона, принятого десять лет назад, в 440 году, когда в обществе окончательно утвердилась концепция Этического Прогресса, гласит: «Никогда, никого, ни в каких обстоятельствах нельзя бросать в беде». А жители Земли, братья по крови,

были именно что брошены, предоставлены собственной судьбе, и судьба оказалась тяжелой. Это установили наблюдения за прежней планетой, развернутые в 442-ом, когда началась разработка программы помощи земным мутантам.

Программа прошла несколько этапов. Ясно было одно: эволюцией нельзя руководить. Любая система, управляемая извне, теряет способность к развитию. Можно осторожно, бережно, дозированно подводить человечество к важным интеллектуальным и техническим открытиям, устранять или смягчать макрокатаклизмы, с которыми людям самим не справиться – вроде опасных изменений климата, как было при резком потеплении, из-за которого уровень мирового океана поднялся на двадцать метров («Великий Потоп»), или при глобальном похолодании («Ледниковый период»); дважды пришлось сбивать с траектории крупные астероиды, которые при ударе о Землю уничтожили бы на ней жизнь.

Сначала считалось, что социально-интеллектуальный процесс можно ускорить, создав один очаг цивилизации, способный постепенно колонизовать остальные регионы. Эксперимент длился

целых два года (на уроках истории в школе, где училась Фелиция, эту эру называли «Античностью»), но вскоре подтвердился закон ущербности анэтической эволюции. Философия, искусство, технические и организационные открытия не отменили правил животной стаи, когда сильные поработают слабых, а жестокие побеждают милосердных. Попробовали развить этику догоняющими темпами: запустили в разных областях планеты нравственные кодексы, имевшие, в соответствии с низким уровнем цивилизации, форму мистических учений. Три кондуктора – сначала Будда, потом Иисус, потом Мухаммед – внедрились в сознание людей механизм этической саморегуляции, но тут оказалось, что социальная организация общества пока не соответствует базовым параметрам этики, начинающейся с правила «не убивать». Царства, княжества, племена не могут обходиться без убийств, потому что между ними происходит естественный отбор.

Тогда – это было два с половиной года назад – кондуктор Чингиз получил задание объединить все народы Евразийского континента в одну государственную систему, что навсегда упразднило бы

истребительные войны. План был жесткий, радикальный, признававший неизбежность побочного ущерба. В Институте земной цивилизации шли постоянные споры, этично ли временно отменять этику даже ради эволюционного скачка и допустимо ли списывать десятки тысяч жизней ради спасения десятков миллионов. В конце концов эксперимент свернули, не доведя до конца, а Чингиза отозвали на Кротон.

Были потом и другие попытки акселерации, как удачные, так и неудачные, но в целом возобладала линия «стоп-крана», то есть вмешательства лишь при ситуации, угрожающей выживанию человечества. Например, в самый первый день, когда Фелиция и ее товарищи только-только прибыли и еще мало что понимали, ошарашенные новыми впечатлениями, в Институте разразился переполох из-за того, что две страны, СССР и США, чуть не устроили ядерную войну. Опасность была купирована буквально в последний момент.

А задание, с которым Фелиция отправилась в свою первую земную командировку, было совсем маленьким и простым, ничего крупного

и чересчур ответственного кондуктору-новичку не доверили бы.

В любой экспедиции случаются ляпы и накладки, это неизбежно. Потом приходится их исправлять.

Месяц назад программа религиозного регулирования этики дошла до этапа, когда пора было вводить в христианскую догму элемент диалектического переосмысления – как первый этап перехода от мистической нравственности к рациональной. Проект назывался «Реформация». Как всегда случается на Земле, новая идея была встречена в штыки и привела к междоусобным и межгосударственным войнам. Недостаточно опытный кондуктор (он действовал под видом испанского идальго дона Эстора) пытался примирить две враждующие партии в королевстве Франция, но вместо этого спровоцировал чудовищную резню – Варфоломеевскую ночь. Пытаясь спасти несчастных избиваемых гугенотов, кондуктор потерял свой энергизатор.

Энергизатор – это компактный аккумулятор динь-энергии, который обеспечивает кондуктора в

командировке всем необходимым. Не станешь ведь есть токсичную земную пищу, пить ядовитую, невитализированную воду, глупо тратить время на сон для регенерации, а еще возможны всяческие травмы. Без энергизатора находиться на Земле нельзя. Потерял – немедленная эвакуация. Другие приедут, найдут, вернут.

В принципе найти энергизатор нетрудно, он эмитирует динь-излучение, которое регистрируется приборами. Но в данном случае произошло ЧП. Через неделю (на Земле прошло 36 лет) за потерянным предметом уже был готов отправиться экстрактор. (Это кондуктор, которому поручена доставка с Земли какого-нибудь объекта. Фелиция тоже была экстрактором). И вдруг сигнал раздвоился, ослабел, стал мерцающим! Означать это могло только одно: энергизатор разрушен, разделен надвое.

У дона Эстора, в соответствии с прикрытием, аккумулятор был замаскирован под серебряную монету. Кто-то где-то каким-то образом разломал монету пополам, и две ее части отправились каждая своей дорогой. Их не могли локализовать уже одиннадцать месяцев. Поврежденные сегменты

то эмитировали слабое излучение, то переставали. Первое означало, что объект статичен, второе – что он находится в движении. В медленно текущем времени есть свои минусы. На Кротоне оно двигалось с величавостью слона, на Земле мельтешило с суетливостью мушки. Пока снаряжали экстрактора, мерцание прекращалось. И так длилось уже одиннадцать месяцев.

Ситуация с пропавшим энергизатором становилась тревожной.

Половинки могли соединиться вновь, случайно. Вернее, не вполне случайно. Динь-энергия – это главная жизненная сила, ее ресурсы неисчерпаемы. У каждого вира и у каждого человека атма эмитирует динь-энергию определенной, полууникальной частоты. Полууникальность означает, что таких частот две. Их излучателей тянет друг к другу. Встретившись, они не хотят расставаться и создают качественно новую двухсущность. На земном языке этот симбиоз называется «любовью».

Точно так же притягиваются и половинки разломанного энергизатора. Они могут свести друг с другом своих обладателей, соединить их

и соединиться сами. Тогда энергизатор восстановит все свои функции в полном объеме.

Тревожной ситуация стала из-за того, что на Земле начали догадываться о существовании динь-энергии, которую там пока считают «биопо-лем». Появились лаборатории, исследующие это явление.

Если в руки землян попадет аккумулятор и они начнут с ним экспериментировать (а с дикарей, пожалуй, станется подвергнуть любопытную штуку какому-нибудь несовместимому излучению), может произойти катастрофа. «Спички в руках ребенка опасная игрушка» – такой экстрагированный с Земли плакат висел в кабинете директора института Свофа. «Это главный лозунг всей нашей деятельности», – любил повторять пожилой, уже совсем голуболобый Своф. У виров волосяного покрова нет (это у землян поствирусная мутация), а на третьей-четвертой сотне прожитых лет начинает голубеть эпителий.

– Есть сигнал. Одна половинка статична! Живо на Землю. Одна нога здесь – другая там, – сказал директор, инструктируя Фелицию перед вылетом.

Своф знал все земные языки и культуры, любил щегольнуть поговоркой, ввернуть цитату. Сотрудники говорили, что он день-эмитит Землю больше родного Кротона.

Глава 4. Вновь я посетил

«Уж десять лет с тех пор прошло, и много переменялось в жизни для меня», – шептала Фелиция пушкинские строки, идя через пригородный осенний лесок угрюмым ранним утром. Ее спустили с зависшего над тучами космолета по трубообразному сигналоотражающему трапу. Скольжение с высоты в пятнадцать километров заняло больше времени, чем межпланетное путешествие. Если двигаться линейно, по прямой, из точки А в точку В, Кротон находится на расстоянии почти в сто световых лет от Земли, но материальная Вселенная похожа на сильно скомканный листок бумаги, и если не ползти по ее поверхности, а прокалывать дырки, то отдаленная точка может оказаться рядом. Фелиция едва успела изучить свою «легенду» и просмотреть перечень новаций, произошедших на Земле и в стране за восемь дней, то бишь десять лет. «Брежнев, «Битлз», «А где мне

взять такую песню», «Бриллиантовая рука», «Адъютант его превосходительства»...». Посмотрела на себя в трехмерное зеркало: взбитые вверх волосы – за такую прическу в шестидесятом выгоняли из комсомола, коротенькая юбка, шелестящий плащ из ткани «болонья». Изучила новые деньги, чтобы не путаться в них, не выдать себя. Примерила сменный туалет: удобные брюки синей материи, рубашку-ковбойку.

Волновалась, конечно. Но березняк, где высадилась Фелиция – близ Дубны, места ее «прописки» – был точь-в-точь такой же, как в 1960 году и тысячу годами ранее: белые стволы, желтые листья и запахи подмосковной осени, от которых вдруг стиснулось сердце и стало бессомненно, нерассуждающе ясно, что динь-притяжение к прежней родине, нелепой и дикой, – на всю жизнь, сколько долгих кротоновских лет она ни продлись.

Идя через поле, по растрескавшейся асфальтовой дороге к теснившимся вдали серо-грязным пятиэтажкам, а потом шагая по пропахшим бензином улицам, над которыми нависло – как это она прежде не замечала? – тусклое облако монотон-

ного, убогого, бессмысленного существования, Фелиция содрогалась от мысли, что могла потратить свое время во Вселенной так же, как горбившиеся под моросью люди, которые двигались в одном направлении, – к железнодорожной станции. Был восьмой час. Дубнинцы, работавшие в Москве, шли к электричке.



Но потом, в вагоне, глядя на лица: полусонные, или мрачные, или оживленные какой-то примитивной (по глазам видно) мыслью; наблюдая за девушкой, красящей губы, за бледным мужчиной, жадно тянущим из горлышка пиво, за ругающимися из-за места зычными тетками, Фелиция испытывала острую, болезненную жалость. Сколько еще поколений выкинут свою жизнь на помойку, так и не проснувшись, так и не поняв, какое это великое, захватывающе интересное приключение – жить на свете? Собственно, ученые Института вычислили сколько, с погрешностью в 5 процентов: около одного года. Кротоновского, то есть по-земному четыре с лишним века. Лишь пятнадцатикратный праправнук этой вот девчонки, зачем-то густо намазывающей свои свежие губки липкой жирной дрянью, будет жить нормальной жизнью. И ничего с этим не поделаешь. То есть поделаешь, конечно, Институт работает, и оттуда кажется, что прогресс не такой уж медленный. Но это оттуда, где иное время и иная жизнь, длящаяся столько, сколько захочешь, с гарантированным сохранением атомы. А здесь атомы вспыхивают и гаснут, вспыхивают и гаснут, будто светлячки во мраке.

Что-то такое Фелиция и говорила Свофу, когда пыталась объяснить, почему решила стать кондуктором.

Он сказал (то есть собственно, проэмитировал – на Кротоне коммуницируют через излучение мысли):

– Понятно. У тебя тоже Со-Струг.

Этим термином – буквально он означает «Коррозия [струг] души [со]», в приблизительном переводе «Угрызения совести» – называлась вся многокомпонентная программа спасения человечества, больных братьев, когда-то брошенных в беде анэтичными предками кротонцев. Некоторые из тогдашних эмигрантов, тот же Своф, еще не переместились в «облако», их со-струг был личным, выстраданным.

Глава 5. Эвакуатор

– Со-Струг? – повторила Фелиция, решив, что ослышалась. Крылов не мог знать этого слова!

Держателя второй половинки энергизатора она нашла легко.

Первую – ту, что излучала статичный сигнал, Фелиция добыла в первый же земной день.

Доехала до столицы на электричке, локатор привел к старому дому на Сретенке, потом в коридор коммунальной квартиры, к двери, опечатанной полоской бумаги с фиолетовым штампом. В квартире было пусто: дневное время, все на работе. Но когда Фелиция осторожно отклеила печать и стала открывать дверь универсальным ключом, с помощью которого проникла и в коммуналку, вдруг вошла старуха с авоськой, перепугалась. «Спокойно, гражданка, я из органов», – сказала ей Фелиция и вынула из кармана удостоверение, заготовленное институтским отделом техобеспечения. Последние полтора месяца все кондукторы, командированные в СССР, бывшую Российскую империю, обязательно снабжались этим магическим мандатом, очень удобным.

Соседка сразу стала разговорчива. Сообщила, что давно подозревала: Ритка не наш человек и даже сигнализировала куда следует. Разговаривала Ритка не по-советски, людьми, которые к ней со всей душой, брезговала, глядела на них скрозь, а когда собралась помирать, вызвала попа, ей-богу – вот с такой бородищей, и безобразие, что комната целый год пустая стоит, когда у соседей четыре

человека на восемнадцать метрах и все права на увеличение жилплощади.

– Разберемся, – сказала Фелиция, входя. – Вы, гражданка тут побудьте.

– Спohватилися, – проворчала вслед старуха.

Локатор пищал часто и настойчиво, вел к тумбочке около допotoпной кровати с ажурной спинкой. В комнате вообще всё было, как в фильмах про старую жизнь: мебель, шкаф и в нем книги с кожаными корешками, древний патефон.

Половинка серебряной монеты, прикрепленная к цепочке, лежала в деревянной шкатулке. Там еще была фотокарточка тонколицего мужчины и пожелтевшая бумажка – путевка в какой-то дом отдыха, а больше ничего. Шарада о прожитой жизни, никто уже не разгадает, подумала Фелиция, но мимолетом. Обрадовалась, что задание частично выполнено. Повезло, что держательница одной половинки умерла.

Всё упростилось.

Вставленная в локатор половинка немедленно установила связь с недостающим фрагментом. Он находился в полутора тысячах километров к югу, на берегу Черного моря, около Тамани.

– ...Душа не деревяшка. Она дерево. Живое. Его состругивать нельзя. От соструга оно кровью сочится, – сбивчиво, непонятно заговорил держатель второй половинки. Его длинное, нервное, понизу заросшее клочковатой бородкой лицо дергалось, глаза смотрели так, как на Фелицию никто никогда еще не смотрел. Разве так бывает, чтобы во взгляде одновременно были ужас и надежда? Но больше ужас. – Зачем вы появились? Зачем я вам? – жалобно спросил Крылов. – Вы молодая, вы космос любите, а я... Я навсегда порченный. Я не здесь, я там. – Он махнул куда-то вдаль. – Я с теми. И останусь с ними пока жив.

Фелиция напряженно слушала.

С энергизатором вот такая штука. Это ведь не просто технический прибор, это эмиттер динь-излучения. Оно, подобно радиации, подвергает того, кто находится совсем рядом, например носит энергизатор в кармане, излучению, которое не убивает, не разрушает здоровье, но сливается с собственным излучением держателя, и через некоторое время они становятся неразрывны. После возвращения из командировки кондуктор проходит сеанс дезинфекции, чтобы восстановить

прежнюю ауру. Но для этого нужно провести некоторое время в специальной камере. На земле такой возможности нет.

Полугенератор стал частью крыловской атмы. С первой половинкой повезло, она была ничья. Фелиция просто взяла ее, и всё. Но уже в поезде, который вез ее на юг, ощутила странное, едва уловимое... как бы это назвать... щекотание в груди – там, где на цепочке висел серебряный кулон. Это энергизатор подбирал отмычку к ее атме. Крылов же, судя по его рассказу, носил половинку при себе – а иногда и внутри себя – больше тридцати лет.

Энергизатор нельзя просто взять и отобрать у давнего держателя. Во-первых, человек погибнет, что запрещено Уставом. Во-вторых, энергизатор от такой насильственной операции трансформируется из динь-генератора в генератор разрушительной тот-энергии, а это чревато нешуточными последствиями. Единственная возможность – если держатель отдает прибор по доброй воле. Но как сделать так, чтобы Крылов сам, без сопротивления и даже охотно расстался с реликвией, имеющей для него такое значение?

– Что ты на меня смотришь, девочка? – перешел на «ты» держатель, глядя на нее с мукой. – Да, ты для меня девочка. Я на двадцать с лишним лет старше и на сто лет старше. Чего тебе от меня нужно? У меня этого нет. Может, когда-то и было, но теперь нет.

И Фелиция решила, что с этим человеком надо быть честной.

– У вас есть то, что мне нужно. Ваше кольцо.

– Что?

Выцветшие глаза недоуменно заморгали.

– Дайте руку.

Она взяла его левую ладонь, приложила к своей груди, вытянув кулон из выреза блузки. Серебро тихонько звякнуло о серебро.

В тот же миг динь-энергия, восстановив контакт с утраченной половиной, пронзила всё существо Фелиции своей звенящей силой. Лицо Крылова перестало быть просто лицом. Оно стало единственным лицом на свете – таков эффект сфокусированного динь-излучения. Без дезинфекционной камеры его не снять.

У Крылова запрыгали губы, наполнились дрожащим блеском глаза. Он-то не мог знать, что

с ним происходит, и должен был испытывать мистический страх.

– Чувствуете? – сказала Фелиция. – Это не наваждение, это физика.

И объяснила – как могла коротко и доступно – про Кротон, про утраченный прибор, про свое задание.

Думала, он не поверит, придется долго убеждать, доказывать, может быть демонстрировать работу какого-нибудь из приборов, содержащихся в походном наборе кондуктора, а потом отвечать на тысячу вопросов.

Но Крылов поверил сразу. У него рукопись, он писатель. Писатели устроены иначе, чем обыкновенные люди, они знают, что существуют другие миры.

– И всё? – спросил он, как показалось Фелиции, с облегчением. – Тебе нужен только мой перстень? Так на, забирай, если он ваш.

И снял с пальца половинку, протянул ей. Она медлила.

Задание вроде бы было выполнено. Энергизатор возвращен без принуждения, добровольно, однако Фелиция знала, что этого недостаточно.

Теперь, лишившись генератора, который стал частью его атмы, держатель заболит душой, и если она хрупкая, может погибнуть. Это не нарушение Устава, Устав запрещает только убийство, но Фелиция и сама была инфицирована контактом. Мысль о том, что Крылову будет плохо, что он заболит и может быть погибнет, показалась ей невыносимой.

– Я возьму вас с собой, – сказала она. – Вы покинете эту дикую планету. Она была жестока к вам. Она еще долго будет непригодна для нормальной жизни. Идемте. Сегодня же... По нашему счету сегодня, – поправились она, – вы окажетесь совсем в другом мире. Там всё иначе. О Земле вы и вспоминать не захотите... Наверно, – добавила она.

– А как же моя книга? – спросил Крылов. – А как же они?

– Кто «они»?

Он не ответил, но Фелиция поняла.

Крылов затряс головой.

– Я им должен. Я им нужен. А у вас я зачем? Надо быть там, где ты нужнее всего, это единственное, что я усвоил. И еще что нет ничего хуже предательства.

Он вскочил со скамейки.

– Берите ваш прибор. И не искушайте меня. Ничем. Ни собой, ни вашей прекрасной планетой. Пожалуйста, прошу вас!

В его глазах стояли слезы.

Фелиция опустила руку в сумочку, нащупала пудреницу. Это был девизуализатор. Нажала клавишу. Исчезла.

Она по-прежнему была рядом, просто Крылов ее больше не видел.

Он вскрикнул, тронул рукой пустоту. В свете фонаря блеснул перстень.

Потер глаза, ущипнул кисть. Пробормотал: «Я схожу с ума...».

И пошел по аллее прочь, держась за голову, шатаясь.

У Фелиции ныло сердце, но наверное в тысячу раз слабее. Она ведь носила на себе половинку всего два дня.

Уныло и потерянно – задание было провалено – она нажала кнопку вызова, отправила сигнал об эвакуации. Тут же получила инструкцию.

Медленно двинулась в сторону моря. Где-то грохотала дерганая музыка, донесся пьяный вопль –

под фонарем кто-то с кем-то дрался, на почтовом отделении помигивал лампочками лозунг «Слава КПСС!». Скучная, беспросветная недожизнь среди непроснувшихся душ, вот что такое Земля, думала Фелиция. Они тут боятся ада и не знают, что живут в нем.

На темном пустом пляже она разделась догола, захватив только сумочку с походным набором. Влаги он не боялся. Поплыла, рассекая фосфоресцирующую воду широкими саженками, наверху сияли звезды. Нет, это не ад. Это котлован в самом начале стройки, сказала себе Фелиция, но веселей от этого не стало.

Далеко за буйками на плавных волнах покачивался эллипсоид.

Эвакуатор, коренастый вир в маске, фильтрующей земной воздух, спросил, когда Фелиция оказалась внутри космолета:

– Ну что? Добыла второй фрагмент?

– Нет. Не получилось. И первый тоже там оставила. Бросила на гальку. Подберет кто-нибудь.

Увозить половину энергизатора было нельзя, на межпланетной дистанции разделенные фраг-

менты аннигилируются, а это нарушит баланс
динь-энергии во Вселенной.

– Ну ничего. Прилетишь снова через неделю.
Может, тогда получится, – утешил Фелицию эвакуатор, с любопытством разглядывая ее анатомию.
Наверное, никогда не видел, как устроены земляне. – Что это у тебя за круглые штуковины? В чем их функция?

Часть шестая

ПЕСО



ДА-ФАК

Свое главное экзистенциальное открытие Александр Пушкер, тогда еще Сашуня, сделал в возрасте шести лет на даче. Смотрел, встав на колени, как муравей трудно волочит сосновую иголку, как на муравья ложится его, Сашунина, тень, и вдруг тень исчезла. Маленький Пушкер задрал кудрявую головенку к небу, увидел сизое облако, формой похожее на лысую башку, даже с ухообразными отростками по краям, и тут же представил, как кто-то совсем великанский, находящийся еще выше башки, наблюдает за облаком, а на великана тоже сверху глядит некто больше самого неба. Так в детский мозг, проходящий стадию

синаптического прунинга, сама собой, безо всякого интеллектуального усилия, навечно, впечаталась концепция Бесконечной Матрешки – Вселенной, простирающейся в обе стороны, бесконечно большую и бесконечно маленькую, потому что муравей, конечно, тоже рассматривал под собой кого-то крохотулечного, а тот, в свою очередь, пялился на некий совсем уж невидимый глазу микрокосм. При этом, заметьте, не то что слова «микрокосм», но и слова «вселенная» маленький засранец еще не знал. Но у него была лаковая матрешка, которую внуку подарила бабушка Арина Абрамовна в надежде привить ребенку любовь ко всему истинно русскому, и проекция мироздания выстроилась зримой, наглядной моделью. Вот матрешулечка, вот матрешечка, вот матрешка, вот матреша, вот матреха, вот матрешаща.

Дальнейшая жизнь Сашуни, Сашки, Александра, Александра Юрьевича Пушкера представляла собой перемещение из одной оболочки в другую. Перемещение не было линейным, подобно тому как нелинейна история земной цивилизации. После раннего расцвета античности, первого своего миллиона, Пушкер откатился назад,

в темное средневековье первого банкротства, но потом научился успешно кататься не только на быке, но и на медведе, выгребать мед из разоренных ульев, и к порогу свежего, зожного сорокалетия приготовился к прорыву, вернее сказать к прокляву в большие матрехи.



Старинные русские сакральные артефакты, неразрывно связанные с исконностью, как

известно, нестаринны, неисконны и вообще нерусские. Патент на балалайку зарегистрирован в конце XIX века в Германии, тальянка-тальяночка – итальянская гармоника, а матрешку привезли из Японии матросы. В этой мглистой, болотной обманности, в извечной неточемкажущести подлинная сила Русского Дао, его облакоподобная неуязвимость, его Божья Роса, однако любящие скучную точность мудрецы Востока на три тысячи лет раньше Сашуни Пушкера открыли, что Вселенная – бесконечнослойное яйцемножество: одно яйцо спрятано в другом, другое в третьем, третье в четвертом, миллионное в миллион первом, и для того, чтобы перейти из меньшего яйца в большее, нужно пробить скорлупу, а для этого необходим крепкий клюв, и каждая следующая скорлупа толще, так что клюв должен становиться крепче. Проклюнуть матрешку нельзя, а скорлупу можно и даже нужно, поэтому от детской метафоры Александр Пушкер, любивший, чтобы его называли бодро и упруго: «Сандр», давно отошел, оставил только названия. Дома у него был подарок самому себе к 35-летию: фарфоровый набор а-ля Фаберже в виде пузатых полуматрешек-полуяиц. Проклюнув

очередную скорлупу, Пушкер разбивал отжившую яйцекуклу ритуальным ударом золоченого молотка «Тиффани».

И клюв Сандра Пушкера окреп настолько, чтоб продолбиться в матрехи, что по всемирно принятой финансовой терминологии соответствует категории UHNWI (Ultra-High Networth Individuals), она же «золотая квота», к которой принадлежит одна пятидесятитысячная человечества.

Секрет успешного проклява так прост, что это, в общем, никакой не секрет, а элементарная физика. Чтобы пробить скорлупу, нужно бить в точку, где слой тоньше всего. А вот раньше других цыплят учуять, где слой протоньшился – это уже талант, и он у Сандра был.

Именно поэтому, по зову таланта, уже 9 октября 2022 года, на следующий день после того как то ли украинские диверсанты, то ли совсем неукраинские совсем недиверсанты взорвали Крымский мост, Пушкер оказался неподалеку от восточного окончания шедевра мостостроительного искусства, в единственном более или менее приличном населенном пункте Таманского полуострова, курортном поселке Ак-Сол. Перелет Москва-Ростов,

шесть часов по автострате – и Сандр выдвинулся на исходную позицию, застыл в небе, расправив крылья, готовый рухнуть вниз мощноклювым орлом, как только заметит внизу шевеление.

Шевеления пока не было, движение по мосту еще не восстановилось. Как только ремонтники закончат работу, Пушкер ринется на полуостров один из первых.

У Сандра была гипотеза, даже не гипотеза, а твердая уверенность, основанная на знании четвертого закона термодинамики *cherchez qui prodest*, который в переводе на поэтический русский язык звучит так: бабло с инсайдом правят миром.

Инсайд состоял в том, что мост херакнули очень серьезные люди из очень серьезной структуры. Херакнули несильно – чтоб не расхерачить вчистую (зачем расхерачивать хорошую вещь, которая пригодится?), а чтоб уронить рынок крымской недвижки и скупить ее по малому прайсу, то есть провести классическую «медвежью» операцию на понижение, а по этой части Сандр Пушкер был не мишка косилапый (рост на задних лапах 2 метра), а четырехметровый гризли.

Так оно и вышло. Со вчерашнего дня крымский риэл-истейт был в панике, выкидывал на рынок сладкие активы по смешным ценам, да никто не брал, потому что дураков нет, а умные еще не подключились, давали товару просесть до дна. Мост починят, когда медведи соберут всю малину. Паника пройдет, цены восстановятся. Кто-то станет на трюль-другой рубликов жирнее.

Тут главное было не зарваться, не попасть под радары серьезных людей. Легким воробышкой, который уволакивает хлебную крошку в четыре своих веса, перешустрить пузатых голубей и не попасться им на глаза. Цапнуть быстро, по-голубиным меркам немного – и фьюить.

Сандр закредитовался кэшем подзавязку, в четыре своих веса, загрузил на эскроу-аккаунты ярд юаней, и стал приглядывать крошки правильного размера. Кое с кем уже вел переписку по мейлу, а с двумя объектами (сто пятьдесят соток под Евпаторией и рыбоконсервный заводик в Феодосии) даже успел позумиться и предварительно договориться, то есть штанов в этом долбаном Ак-Соле зря не просиживал. План был такой: надрафтить контрактов с запасом, ярдов на пять,

но пока не подписывать; как только мост задвигается, осмотреть на месте, потому что свой глазок – смотрок, и выбрать самую мякотку.

Вечером, на исходе высокорезультативного трудового дня Сандр вышел прогуляться по эспланаде, подышать морским воздухом. Мысли его были приятны, освеженную гостиничным барбером стрижку «фейд-адеркат» пошевеливал легкий бриз, в кармане потренькивала мобила – это юротдел подгонял из Москвы экспертизу (проглядеть потом, в номере).

И вдруг Пушкер ощутил зуд. Тот самый.

Как всякий адекватный, твердо ступающий по земле гражданин Российской Федерации, Сандр был подвержен здоровой паранойе: подозревал, что за ним секут, и в большинстве случаев не ошибался. Сечь за Сандром могли конкуренты, менты, вольные охотники и – самое шухерное – серьезные люди. За годы, проведенные между матрешечьими боками и яичными скорлупками Пушкер выработал шестое чувство, наподобие эхолокации у летучей мыши. Чуть повыше холки, где нежные волосы, у него размещался гиперсенситивный

участок кожи, реагиовавший на слезку особенным тревожным зудом.

И вот, посередине ак-сольской эспланады, на подходе к отелю, локатор включился, но в неожиданном месте. Зазудела не шея, зазудел безымянный палец левой руки, чего никогда прежде не случалось. Ощущение при этом было безошибочное, не спутаешь.

Сандр с удивлением поднес к глазам руку. Зудело вокруг перстня. Что за хрень?

Перстень этот у него был лет пятнадцать. Поглядеть – жуть голимая, кривая серебряная полоска. На пальце у солидного человека такой дешевке вроде бы делать нечего. На важных переговорах Пушкер вроде как в рассеянности покручивал кольцо, поворачивал широкой стороной кверху. Люди пялились. Иногда спрашивали. Для того перстень и был – чтоб пялились и спрашивали.

Пятнадцать лет назад, в блаженную эпоху вторичного накопления капитала, двадцатипятилетний Сандр вместе со всем российским бизнес-классом начинал софистикеть, переходить от нуво-

ришеских понтов к стилю «Силикон-вэлли». Пересел из простодушного «гелендвагена» на велик, сменил блейзер на майку, «ролекс» на «микки-мауса», а пятикаратный «пинки» на мусорного вида серебряшку. Время варварской пышности закончилось, настала эпоха эллинизма: красоты в глазах разбирающегося. Серенький, невзрачный Pinarello стоил сорок штук баксов, потрепанная майка была с автографом Ёко Оно, часы когда-то принадлежали Стингу, а перстень – покупаем отечественное – был приобретен на правильном аукционе. По случаю семидесятилетия Большого Террора собирали средства на памятник жертвам сталинизма, и Пушкер увел недорого, всего за полтос, классный лот, выставленный фондом «Мемориал», кольцо нобелевского лауреата писателя Ильи Крылова. Так что на вопрос о странном перстне Сандру было что рассказать.

Памятник не построили, потому что поменялся тренд, но к кольцу Пушкер привык. Только немножко его подтюнинговал. Там была черненная надпись TODO O NADA, так он оставил только TODO, безо всяких «или», а остальное велел засеребрить.

Сандр снял перстень, почесал палец, и тот зудеть перестал, но тут же щекотнуло холку, теперь уже совершенно знакомым манером. Значит, не показалось. Секут!

Остановившись и присев, будто бы завязать шнурок на «наик эр-джордане», Пушкер поглядел туда-сюда.

Откуда? Вон из того «мондея» с тонированными стеклами? Сечь за ним здесь, в Ак-Соле, могли только серьезные люди. Унюхали? Перехватили мейлы? Но серьезные люди трэшевыми тачками не пользуются.

Напротив светился всеми окнами четырехзвездочный «Лермонтов-палас». Оттуда, из окна? Номеров в Ак-Соле было не достать, из-за моста тут застряли многие. Сандр вышиб средненький супериор в соседней «Толстой-плазе», только сунув администратору сотку евро.

Да какая разница, откуда они мониторят – из окна гостиницы или из машины? Главное правильно себя вести. Самое глупое – прятаться. Прячется тот, кому есть что прятать.

Здесь одно из двух. Или понюхают и уйдут – или захотят поговорить. Закон жизни в РФ гуманен

и прост: будь переговоро– и договороспособен, и получишь место в русском элизиуме, где волки сыты и овцы целы. Объяснить свою полезность (а она есть – это они поймут), обкашлять пределы возможного. Может еще и лучше выйдет, под крышей-то.

Пушкер поднялся к себе в номер. Стал ждать, не вступят ли серьезные люди в контакт. Одно лишь было удивительно: чего это сначала раззуделся палец? Он и теперь почесывался.

Сидел в кресле, потягивал виски «White Horse» (в баре из-за санкций ничего лучше не было), уговаривал себя не волноваться, и сам не заметил, как закемарил. Проснулся оттого, что лицо обдало холодком – окно что ли приоткрылось. Встал. И увидел под дверью, на полу, что-то маленькое, белое.

Подошел.

Визитная карточка. Просунул кто-то.

Может, это и есть контакт? Если так – необычно. По-нормальному должен быть звонок с неопределяемого номера. «Александр Юрьевич? Есть тема для разговора», как-нибудь так.

Нет, не то. Фигня. «CALL-GIRL БАБА-ЯГА» и логотип: ведьма в ступе, с метлой.

Ишь ты, какие декадансы в сельской местности, подумал Сандр в первую минуту, но потом сдвинул брови. Телефона на карточке не было. Только веб-адрес: www.babayaga.ru. Как-то оно чудновато для девушки по вызову. А что если все-таки контакт?

Он сел к лэптопу, набил адрес. Хоум-пейдж минималистский: только логотип и табличка с надписью «Одноклеточным вход запрещен». Кликнул. «Пройти тест на клеточность». Еще клик.

КТО АВТОР СТРОКИ «КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ?»

– ИВАН ТУРГЕНЕВ

– ИВАН МЯТЛЕВ

– ТУПАК ШАКУР

– НИКТО

Хэээ, подумал Сандр и нажал последний вариант, который был ближе всего к такому ответу.

Если это контакт, то сто пудов – остроконечники.

Серьезные люди бывают двух подвидов: тупоконечники и остроконечники. Первые старше, они пьют водку «Белуга», а потом слушают Лепса. Вторые моложе, они нюхают кокс, цитируют Кастанеду,

и всех, кто не слышал про Тупак Шакура, за людей не считают. Деловой человек высокого уровня умеет находить общий язык и с первыми, и со вторыми.

Появилась надпись: «Правильный ответ. Автор строки умер и стал Никем».

Внизу мерцало окошко в древнерусском стиле, с наличниками: «Начать чат».

Нажал.

Открылись ставни.

«ПРИВЕТ. ОТВЕТЬ ОДНИМ СЛОВОМ: КТО ТЫ?».

Пушкер без колебаний напечатал:

«ИНВЕСТОР».

«А ГОТОВ ЛИ ТЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ САМОЕ ДОРОГОЕ?».

С тупоконечниками, конечно, иметь дело проще. Они не интересничают, сразу выставляют процент.

«ЗАВИСИТ», – ответил Пушкер. И прибавил цитату из Лао-цзы (это остроконечники тоже любят): – «ЧТО САМОЕ ДОРОГОЕ? ТО, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ, НО ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ». Морочить голову он тоже умел.

Сработало!

«ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ БУДЬТЕ В «ЛЕРМОНТОВ-ПАЛАСЕ». ПЕНТХАУС «КНЯЖНА МЕРИ».

Немножко ёкнуло. Следили, не показалось! Знают, что он находится ровно в пяти минутах.

Сандр трижды хлопнул одной ладонью (научился этой практике у сенсея по дзэн-гештальту), вышел на плато внутреннего покоя – и полетел клювом вперед, долбить скорлупу.



Точность – вежливость королей и портфельных инвесторов, эту истину Пушкер усвоил еще в детстве, из телерекламы банка «Империял». Через три с половиной минуты он был уже в вестибюле «Паласа»; сорок пять секунд, следя за лапкой Микки-Мауса, простоял перед лифтом (в пентхаус «Княжна Мери» вез индивидуальный, с дверцей из ложного палисандра). Явиться ни на минуту раньше, ни на минуту позже, а с точностью до секунды.

Нажал кнопку. Дверцы не открылись, но из динамика раздался низкий, хрипловатый голос.

– Это вы?

Сандр удивился. Во-первых, глупости вопроса, на который кто угодно ответит «я». Во-вторых, тому, что голос был женский. При всей своей продвинутости остроконечники, как и посконные тупоконечники, стопроцентно моногендерны. Сандру еще ни разу не приходилось иметь дело с женщиной.

Наверно, надо ответить как-нибудь нетривиально, в этом и заключается смысл вопроса, подумал он.

Ничего заковыристей не придумав, сказал:

– Более или менее.

Сезам распахнулся. Кабина повлекла Пушкера навстречу судьбе.

Оп-ля!

В открывшемся прямоугольнике, наполненном золотистым сиянием плинтусной подсветки (в Москве это считалось шиком лет десять назад), стояла женщина в расписном халате а-ля рашн-сарафан, с распущенными по плечам длинными волосами. Ее глаза под идеально полукруглыми, сходящимися над переносицей, то есть союзными бровями, мерцали из-под густых ресниц, но Сандру было не до глаз. Расстегнутый халат обнажал голое тело: полушарья груди, затененный пупок и неприкрытый паховый треугольник – у профессионалок высокого класса брить лобок вышло из моды.

Это действительно call girl, сообразил Пушкер, глядя вниз. И ощутил неимоверное облегчение – как Колобок, который ушел от волка.

– Глаза вот здесь, – насмешливо сказала женщина, взяв его за подбородок и подняв Сандру голову.

Халат она подвязала. Повернувшись спиной, прошла в комнату.

Пушкер огляделся. Прикинул, сколько может стоять такой пентхаус. Не меньше пятисот баксов в сутки. У отельных путан обычный коэффициент четыре. Значит, две штуки плюс-минус. Можно себе позволить. Не в номере же сидеть, «Белую лошадь» доить.

– Сколько? – спросил он.

– Что «сколько»?

Женщина села в кресло, закинула ногу на ногу, полы халата опять разошлись. Можно подняться до двух с половиной, решил Сандр. Для периферии уровень секс-услуг очень неслабый, это заслуживает поощрения.

– Я про таксу.

Засмеялась.

– Ко мне, такса! – поманила она его жестом, каким подзывают собаку. – Сидеть!

Кивнула на соседнее кресло.

– Я не по БДСМ, я ценю простые радости плоти, – сказал Сандр. – Так сколько?

– Всё. Или ничего. Зависит от вас.

А вот эта многозначительная «загадочность» уже отдает провинцией, подумал он.

– Алё, Баба Яга, ближе к делу.

– К какому делу?

Она смотрела вопросительно.

– Блин, ты же call-girl, девушка по вызову! – начал раздражаться Сандр.

– А-а. – Опять рассмеялась. – Вы не поняли. Это не меня вызывают. Это я вызываю. И подождите переходить на «ты». Сначала нужно определить: всё или ничего.

– И как же вы это определяете? – насторожился Сандр. У него опять возникло подозрение, что это всё-таки контакт. Какой-нибудь креатив остроконечников, они обожают возводить туры на колесах.

– По руке. Покажите ладонь.

Он подошел, протянул руку.

– Не эту. Левую.

Взяла его кисть ледяными пальцами, потрогала перстень – он был кверху надписью.

– Ну, todo так todo, – сказала Баба Яга, даже гадать не стала. – Садись, добрый молодец. Выпей из ендовы медку да за белую беседушку.

Она взяла со столика резную чашу а-ля рюс, разлила в гжельские чарки желтоватый напиток.

– Знаешь, что такое бела беседушка?

– Нет.

Он понюхал чарку. Пахло травяным. Отпил. Приятный вкус – сладковато-горький, пряный. Немного на «Ягермайстер» похоже.

– Это старинная русская практика. Вроде тантрического секса. Оргиастическая интерреляция без пенетрации. Вам понравится.

– Вы кто? – озадаченно спросил Сандр. – Я понял, что не путана. А кто тогда? И зачем вы сунули мне под дверь карточку?

– Я кандидат филологических наук. Специалист по отечественной литературе. Защитила диссертацию на тему «Автохтонное и апроприированное в русской нарративно-дискурсивной традиции».

– И что? – подумав спросил он. – Какое отношение имеет литература к...

– Прямое! Литература имеет отношение ко всему! – перебила она, вся подавшись вперед. Глаза – они, оказывается, были черные – вдруг зажглись неистовым огнем. – Русская литература –

враг России! Погубительница истинной, чистой, неподдельной Руси!

Пушкер моргнул, ошарашенный этакой пассионарностью. А кандидата филологических наук было не остановить.

– Я решила изучать литературу, потому что, если хочешь победить врага, нужно досконально его знать, исследовать все его тайны! Вот все носят, восхищаются: ах, великая русская литература, ах, это наш главный вклад в мировую культуру, ах, чем бы мы все были без Толстого-Чехова! А мы были бы собою! Русью, а не Вырусью! Знаете, что такое русская литература?

Сандр растерянно кивнул.

– Ни черта вы не знаете! Вы и что такое Русь, не знаете, потому что Пушкин с Лермонтовым заморочили всем головы! Хотя сам Пушкин-то, эфиопское семя, отлично знал! Русь – это на неведомых дорожках следы невиданных зверей! Избушка на курьих ножках, стоит без окон, без дверей! Вот где русский дух, вот где Русью пахнет! Но двести лет назад Европа кинула нам, как нищему в шапку, свой дублон старинный, свою глобалистскую монету: Сервантеса с Шекспиром-Шатобрианом,

задудела на своей гаммельнской дудочке, и повела за собой, и утопила. Русь, настоящая Русь соблазнена «развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном»! Наш дремучий, зачарованный лес застроили коттеджами, проложили повсюду свои сраные аллеи! А Русь не английский или французский парк! Русь – чудище обло, озорно, огромно и лаяй! Но Гоголи, Достоевские, Булгаковы выдрессировали его, как пуделя, заставили ходить на задних лапках! Оттого и все наши русские беды! Душа у нас родная – звериная, лесная-болотная, кикиморная, а дрессировка вражеская, чужая! Из-за этого мы сами себя двести лет грызем, раздираем мясо до крови! Знаете, что такое русский Инь и Ян? Формулу нашей двуединости знаете?

Он помотал головой. Тетка куку, это ясно. Надо бы уносить ноги, пока не покусала. Но Сандр будто оцепенел. Вроде выпил всего пару глотков, а голову покруживало, и ноги отяжелели. Но хорошо было, улётно. Кокса что ли в медок этот намешано?

Он отхлебнул еще.

– Иван-да-Марья. Вот наша русская натурфилософия. Обратите внимание, что между мужским и женским началом влезло «да». Оно не дает им

соединиться. Понятно, что наш Иван – дурак, и Марья – неискусница, но дурацкое дело ведь нехитрое: совокупляйтесь и будет вам счастье. А не могут. Двести лет уже не могут. Чертово «да», втершееся промеж, мешает. Это и есть русская литература!

– Да? – удивился подплывающий Сандр. Ему нравилось слушать звучание хриповатого, страстного голоса.

– «Да» – это не то «да», каким кажется!

– А ч-что же? – заикнулся он.

– Я называю это «да-фак», сокращение от «да-фактор». Казалось бы, если мужчину и женщину тянет друг к другу и они говорят «да», то через фак должно произойти слияние Инь и Ян, энергетический синтез! Однако этого не происходит. Потому что «да» тут не знак согласия и не синоним союза «и»! Это половинка обрубленного «Дада»! Тайну сто лет назад выдали дадаисты. «Дада» – хвост африканской священной коровы Кру, того самого Золотого Тельца из Ветхого Завета! Тристан Тцара проговорился: «Дада – это Ничто, Ничто, Ничто, стремящееся к Ничему, Ничему, Ничему». А русская литература – это половинка Ничего. Если

найти вторую половинку, две половинки сложатся, и превратятся – во что?

– Во что? – блаженно повторил Пушкер.

– В Ничто. Минус помножится на минус, и препона исчезнет. Тогда Русь спасется. Вернется в свой изначальный лес. Иван с Марьей соединятся и произведут на свет тридцать витязей прекрасных. Эта магическая трансмутация предсказана в тайной «Велесовой Книге». Древнеславянский оригинал утрачен, но сохранилось переложение Юницы Моревны, великой русской стихотворицы, современницы иуды Пушкина и бесенка Лермонтова. Превознеся до небес их франковонные вирши, русофобская культурная клака ошельмовала и вытоптала из памяти родниковую лирику Юницы, сокровенной печальницы за Землю Русскую. В «Велесовой Книге» содержится пророчество, над разгадкой которого двести лет бились истинно русские люди. И не только люди...

Со зрением Сандра творились интересные вещи. Лицо кандидата филнаук вдруг заколыхалось, пошло рябью. Сквозь него, быстро сменяясь, проступали какие-то другие лица, но зафиксировать их было невозможно, стоп-кадра не получалось.

– Круто, – пробормотал Пушкер, впечатленный качеством кокса. И отпил еще.

– Пророчество «Велесовой книги» такое:

На Калиновом мосту,

Что разделит берега,

Кинет Лихо в Пустоту

Баба-бабушка Яга.

Сгинет вырись, сгинет грусть,

И державно, всегда,

Полетит Святая Русь

Ниоткуда в Никуда.

– Куда в Никуда? – спросил Сандр. Стихотворение ему ужасно понравилось. Ему всё сейчас ужасно нравилось.

– Туда! Где чудеса, где леший бродит! Русалка на ветвях сидит! Ведь знал, знал, кучерявый выродок, от чего отрекается! За то и будет проклят! – Выпроставшаяся из широкого халатного рукава обнаженная рука жестом боярыни Морозовой воздела два блеснувших кровавым шеллаком пальца к потолку. – Радетели Земли Русской, жившие прежде меня, не могли разгадать пророчество, ибо не пришло время. А ныне оно пришло! Вот он – Калинов мост! – Она ткнула за окно, во

тьму, в сторону темного Керченского пролива. – Сакральный мост! Не из тех, что соединяют берега, а из тех, что навсегда их разделяют! Всего только и надо было, что сесть на русском берегу и дожждаться, когда мост разделит берега и обе половинки Лиха прикатятся себе на погибель!

– Понятно, – наклонил гулкую голову Пушкер. Ему было супергуд.

Опустившись, голова больше не хотела подниматься. Веки тоже сомкнулись и уже не разлепились. Инвестор сполз с кресла на ковер, откинул руку с поблескивающим перстнем.

Тогда женщина поднялась и взялась за дело, напевая: «Да удалый ты дородный добрый молодец, да премладый ты Чурило сын Плёнкович, да пожалуй ко мне во высок терём».

Быстро и ловко ворочая бесчувственное тело, будто распеленывая младенца, она стащила с Пушкера всю одежду, ухватила его за щиколотки и поволокла в соседнюю комнату. Там, безо всякого усилия, взяла под мышки, затащила на широкую кровать и аккуратно уложила на спину, приговаривая «Да ложились спать во ложни теплые, да на мягку перину на пуховую».

На второй половине кингсайз-беда, так же навзничь, лежала девушка с закрытыми глазами, тоже в чем мать родила – если не считать серебряного кулона на цепочке.



КАКОКРЫМИЯ

Больше всего на свете Соня любила чистый разум. Больше всего не любила грязное тело. Всякое тело грязное, даже если чисто вымытое. Соня знала это по собственному телу и его тоже не любила. Изнутри оно всё состояло из слизи, пахучей жижи, фекалий, trebuхи, менструальной крови и просто крови.

Родоса она полюбила за то, что он весь был – разум, тело у него не то чтоб отсутствовало, но не имело значения. В том числе и Сонино тело.

Родос был асексуал и proud of it. Однажды, еще на первом курсе, он даже затеял парад Asexual Pride, но приняла участие только Соня. Они прошли по центральной лестнице вдвоем, держась за руки, оба во всем белом, в том числе, конечно, и в белых перчатках. Они никогда не касались друг

друга, в этом состояла особенная, острая притягательность Родоса – он притягивал, но в то же время был неприкасаем и недосягаем. Как светящаяся в небе звезда.

На «Родион», «Родя», тем более «Родька» он не откликался. Приучил всех звать его только «Родос».

Ее он называл «София», что было лестно, но неправда. Мудрости в Соне не было, никаких иллюзий на этот счет она не строила. Разум она так страстно любила, потому что, как открыл еще Платон, философ манит человека к тому, чего в нем самом недостает. В Родосе субстанции, которую древние называли «рацио», было с переизбытком, из-за этого даже происходили сбои – так машина захлебывается бензином, когда в топливной системе совсем нет вакуума. Родос и был человек-машина, под завязку заправленная теорией. Иногда, очень редко, в нем вдруг проскальзывало что-то немашинное, и в такие мгновения Сонино сердце сжималось от острого, пронзительного чувства.

Например, сегодня утром, когда проехали указатель с надписью «КРЫМ», лицо Родоса слегка

дрогнуло, углы рта опустились, как на античной маске «Трагедия», и он пробормотал:

– Эврика! Я понял, что с нами происходит. Это какокрымическая цепочка.

– Что? – спросила Соня. Ей немедленно царапнуло душу кошачьими когтями.

– Какокрымия. Это слово я изобрел сам. Какός плюс κρίμα. «Какос» – плохой, «крыма» – решение. Когда плохие решения цепляются одно к другому, возникает дурная цепочка, и пока она не разорвется, хрень, она же хтонь, так и будет продолжаться. Ну вот давай отмотаем назад, звено за звеном, и ты увидишь, как одна какокрыма логически вела к другой.

– Давай отмотаем, – кивнула Соня. Она ужасно любила, когда Родос выстраивал логические цепочки.

– Каждое отдельное решение теоретически было абсолютно правильным, хорошим, но внешний Хаос, не поддающийся прогнозированию, превращал хорошее, агафос, в свою противоположность – какос. Вся наша одиссея – это обкакавшаяся Агафья.

Родос обожал каламбур, но у него получалось так себе, и это тоже трогало Сонино сердце. Она засмеялась, хоть и не любила копроюмора.

– Правильным ли было мое решение уйти из универа? Год назад казалось, что да. Гораздо эффективнее и быстрее пройти весь курс античности самостоятельно, не тратя время на факультетскую чепуху. Вот ты осталась, и всё еще копаешься в Афинах, а я уже дошел до позднего Рима. Так?

Соня кивнула. Без Родоса в университете лично ей стало намного хуже, теперь они виделись максимум раз в неделю, приходилось придумывать для этого какие-то специальные поводы. Но год назад он объяснил, что так будет лучше для него, и Соня не стала отговаривать, да Родоса и не переубедишь.

– Кто мог предугадать, что начнется война? Что объявят мобилизацию? Что мне, раз я больше не студент, пришлют повестку?

– Никто, – согласилась Соня.

Позавчера он позвонил, сказал: «Меня тоже включили в проскрипцию. Эфеб из военкомата вручил повестку, заставил расписаться. Приезжай, попрощаемся».

Соня сразу примчалась.

Родос расхаживал по комнате, увешанной греческими и латинскими изречениями, и тоном Сократа, обращающегося к суду гелиастов, излагал Соне аргументацию.

– Могу ли я фаталистски довериться Паркам и принять их жребий? Нет, ибо человек, обладающий достоинством, не станет уподобляться овце, которую гонят на бойню. Я не дрожащая тварь, которая безропотно умирает и бестрепетно убивает. Ergo?

– Что «эрго»? – пролепетала охваченная ужасом Соня.

– Я отправляюсь в добровольное изгнание. – Он посмотрел на ее непонимающее лицо и, сжавшись, объяснил попросту. – В Грузию валю. На машине. Как все. Оттуда дуну в Европу. Попрошу где-нибудь политубежище. Повестка поможет. Короче, прощай, София.

– Я поеду с тобой, – не задумываясь сказала она.

Эмоциональными доводами не пользовалась, только рациональными. Надо торопиться, пока не закрыли границу, а вдвоем они смогут вести

машину по очереди, без остановок. Молодая пара выглядит менее подозрительно, чем парень-одиночка призывного возраста. Меньше шансов, что тормознут по дороге. А еще он совершенно прав насчет универа: она тоже решила, что нечего тратить время на слушание лекций, когда ту же сумму знаний (прямо так и сказала «сумму знаний») можно получить самой. И в Мордоре ей оставаться тоже незачем.

– Логично, – признал Родос.

И уже через пару часов они пилили по М4 в его старой, но аккуратной «астре».

– ...Решение эвакуироваться через Грузию тоже представлялось абсолютно рациональным, – загнул второй палец Родос. – Во-первых, безвиз. Во-вторых, массовый исход. В-третьих, на день раньше выехали Аяксы и мониторили в онлайн-режиме что впереди на трассе.

Аяксы были его приятели, два гей-активиста. В дороге Родос перезванивался с ними каждый час. На подъезде к Ростову сказал: «Они уже там, у Верхнего Ларса. Тысячи машин стоят. Очередь минимум на сутки. План такой. Доезжаем. Тачку

бросаем. Пересаживаемся к Аяксам. Сэкономим десять часов».

– ..И топорик я купил правильно.

Загнулся третий палец. Соня нервно поежилась.

Через пару часов после того, как проехали Ростов, Аяксы сообщили что перед контрольно-пропускным жопа: менты поставили блок-пост, шмонают всех подряд и тут же наряд из военкомата. Народ валит пешедралом, через горы. В горах холодрыга, но не поворачивать же обратно.

«Вот как правильно было отправить вперед разведку, – сказал ей Родос. – Экипируемся».

В хоррор-тауне Кущевская сделали короткую остановку. Купили для перехода через горы палатку, плед, компас и туристический топорик.

Родос нагуглил, что машину надо будет оставить в селе Эзми и оттуда двинуть пешком до грузинского Джейраха берегом речки Армхи. Конечно, в темноте.

Соня представила, как они будут лежать ночью вдвоем в тесной палатке, под пледом, на берегу журчащей горной реки, вспомнила пословицу про рай в шалаше и ощутила прилив счастья.

– ...Кто же знал, что нас тормознут за 600 километров?

Их остановили у поста ДПС, сразу за маленьким городком или большим поселком, название которого Соня проглядела.

Подошли двое ментов. Родос шепнул: «Спокойно. Документы норм». Вынул из бардачка кожаный органайзер. У Родоса всегда и во всем был идеальный порядок. Он и сам был ходячий органайзер. Потянул за уголок пластиковую карточку, она застряла, и мент – он был дерганный, злющий – вдруг сунул руку в окно, цапнул всю сумочку. «Давай, давай. Всё проверю: техталон, страховку». И пошел в свою стеклянную избушку на курьих ногах. А второй, сонно-флегматичный, остался.

– ...На посту у меня тоже выбора не было. Сделал то, что нельзя было не сделать. – Родос согнул четвертый палец. Соня от жуткого воспоминания зажмурилась.

Тогда она не поняла, отчего Родос внезапно будто окоченел. Посидел несколько секунд, весь каменный. Говорит: «Вылезу, ноги разомну». И вышел из машины, сам что-то за спиной прячет. Вдруг как стукнет гаишника по голове. Топорик

с хрустом вошел в кость и остался торчать в про-
рубленной фуражке. У мента глаза изумленно под-
нялись кверху, уставились на каучуковую рукоятку.
Потом закатились, остались только страшные сле-
пые белки. Он еще не рухнул, а Родос уже кинулся
обратно в машину, рванул рычаг, вывернул руль
и дал по газам.

«Ты что?!» – закричала Соня.

«У меня там повестка. 338-ая статья. Семь лет
за дезертирство» – сквозь белые, трясущиеся губы
процедил он.

«Астра», набирая скорость, неслась обратно
к поселку.

«Ты его убил» – пролепетала Соня.

«Иначе они убили бы меня. Ты знаешь,
я в тюрьме недели не выживу».

Родос и теперь повторил, словно сам себя
убеждая:

– В той ситуации это было единственно воз-
можное решение. Плохое. Но единственное. И по-
том мы всё тоже сделали правильно.

Что было потом, Соня запомнила неотчет-
ливо. В городке Родос свернул в первый же пере-
улок. Подождал, пока по трассе с отчаянной

сиреной промчатся один за другим два полицейских автомобиля. «Идем, – сказал. – Я видел автобусную станцию».

Они уехали первым же отходящим междугородом. Рейс был до Краснодара.

«Спокойно, спокойно, – шептал Родос. – Ты видела его харю? Без такого упыря мир стал только лучше. Надо собраться с мыслями. Выработать план». Он сейчас был не похож на человека-машину, и в Соне жалость вытеснила ужас. «Ты всё придумаешь, когда мы доедем, – сказала она. – А сейчас положи мне голову на плечо и поспи. Это самое разумное. Мозг должен отойти от шока». Он послушно склонил к ней голову и тут же уснул. Соня запретила себе думать о прошлом и будущем, жила только настоящим, и оно было прекрасно.

В Краснодаре на автовокзале, стоя перед билетной кассой и глядя на табло, Родос, опять хладнокровный, рассуждал вслух: «Грузия отменяется. Москва тоже. У них по всей трассе план «Перехват». Действует максимум 48 часов, потом пойдет обычный розыск. Нужно место, чтоб пересидеть, затеряться. И откуда потом можно хоть как-то

свинтить. Задача трудная, но решаемая. Разум всё преодолагает».

– ...И разум всё превозмог. – Родос поднял пятый палец, единственный еще не согнутый – большой, так что жест получился гиперпозитивный. – Правильное решение разорвало цепочку какокрымии. И неслучайно этим решением стал Крым.



В результате они сели на автобус «Краснодар-Керчь». Логика у Родоса была такая. Первое: в Крыму искать не станут, потому что это в стороне от трассы. Второе: в Крыму полно приезжих, потому что курорт и беженцы. Третье: крымским ментам не до уголовки, они с утра до вечера ловят украинских диверсантов. Четвертое: единственная возможность для человека в розыске выбраться из Эрэфии – перейти линию фронта. Это риск, но всяко лучше, чем быть забитым до смерти в ментуре.

«Я с тобой, – сказала Соня. – Мне оставаться тоже нельзя. Я же соучастница».

* * *

Три часа прошло с тех пор, как Родос поднял большой палец и объявил, что цепочка плохих решений прорвана.

Автобус подъезжал к Тамани, когда дорога вдруг встала вмертвую. С той стороны было пусто, неслись только полицейские машины с сиренами. Наверху затарахтели вертолеты. Прямо по обочине, подпрыгивая, прогромыхал бронетранспортер, за ним другой, третий.

– Это не может быть из-за меня, – сказал Родос. – Уж бэтээры-то... Из-за гаишника вряд ли.

Но голос немножко дрогнул, и вопросительная интонация проскользнула.

– Не может. Я выйду, узнаю.

Соня бодро кивнула ему, хотя внутри вся съежилась от ужаса, и сильно захотелось по-большому.

Шофер автобуса стоял в кучке других водил, они размахивали руками, что-то обсуждали.

– Что случилось? – спросила Соня.

– Мост грохнули. Не то прилет, не то фура какая-то рванула, – возбужденно ответил шофер и заторопился, стал толкать Соню назад к автобусу. – Садись, садись, а то эти бешеные.

Она увидела, что вдоль шоссе бегут полицейские, густо. Один остановится возле автомобиля, другие гонят дальше. И орут:

– Всем сесть в машины! Приготовить документы!

Кто замешкался, получал удар резиновой дубинкой.

Задыхаясь, Соня бухнулась на сиденье, шепотом объяснила Родосу.

– Опять какос, – скрипнул он зубами. – Не надо было в Крым ехать. Блин, надо паспорт куда-то... Найдут – кранты.

Он схватил красную корочку, запалил зажигалкой, кинул в приоткрытое окно с той стороны, куда никто не смотрел – все глядели влево. Там в небо поднимался столб черного дыма.

Но когда в салон поднялись проверяющие, стало ясно, что решение опять было ошибочным. Менты просто требовали показать паспорт и смотрели прописку. У кого крымская – велели выходить. Фамилии их вообще не интересовали. Но когда Родос сказал, что паспорта нет, потерял, прапор заорал:

– Есть один! Без документов!

Подскочил другой, здоровенный, заломил Родосу руку, поволок его, полусогнутого, к выходу. Поганая цепочка всё тянулась.

Соня кинулась следом, просила не делать больно, лепетала, что может поручиться.

Но Родоса поставили в сторонке от крымских, надели наручники. Офицер, три звездочки на погонах – лейтенант, капитан? – вызвал по рации конвойного.

Соне сказал:

– Покажи документ... Маринадова Софья Семеновна, Москва. Знаешь его?

– Знаю. Это мой жених! Его зовут...

Она запнулась, чуть было не назвав настоящее имя. Но лейтенант-капитан не обратил внимания. Как зовут задержанного ему было все равно.

– В следственную часть приходи. Таманское РУВД. Установят личность – заберешь. Но раньше чем завтра даже не думай. Сама видишь, чего тут. Давай-давай, топай. В контакт не вступать!

Родос стоял бледный. Скованные руки за спиной, ворот рубашки распахнут, потому что оторвалась пуговица, в ложбинке под шеей пульсирует кожа.

– Прощай, София, – сказал он по-древнегречески, чтоб мент не понял.

– В контакт не вступать! – заорал лейтенант-капитан. – Щас носом на асфальт уложу! – И Соне: – А ты брысь отсюда!

И Соня пошла вдоль машин, ничего не видя от слез.

Она знала, что Родос погиб. Завтра его «установят» – и конец. За своего зарубленного топором

товарища мусора убьют прямо в КПЗ, замордуют до смерти, безо всякого суда.

Сама себя не помня, ничего вокруг не видя, Соня брела сначала через поле, потом мимо каких-то домов и остановилась только, когда идти стало некуда. Под ногами шелестел прибой. Она уперлась в море. Посмотрела на часы и увидела, что шла целых три часа.

Огляделась.

Набережная с отелями и забегаловками. Там прогуливаются люди. Но на берегу почти никого – дует холодный ветер, забрызгивает гальку мелкой каплейю.

«Цепочка, грёбаная цепочка», – прошептала Соня, так и не научившаяся произносить obscene-ные слова. У нее было слишком живое воображение, всякий эпитет немедленно становился зримым.

И стоило ей это произнести, как она увидела высовывавшийся из-под влажных камешков конец металлической цепочки. Удивилась. Присела на корточки. Вытянула.

Цепочка была вся какая-то ссохшаяся, будто пролежала здесь много лет. Кажется, серебряная.

Висевшее на ней украшение, половинка не то монетки, не то медальки, во всяком случае точно было серебряное. Серебро не почернело, потому что его, наверное, всё время омывало соленой морской водой.

Всякий, кто изучает античность, относится к знакам судьбы серьезно, и Соня верила в приметы. Серебряная цепочка, нашедшаяся в тот самый миг, когда была помянута и обругана какою-то рымическая секвенция роковых событий, что-то означала. Хорошее или плохое? Хорошее, сказала себе Соня. Потому что хуже уже некуда.

Она вытерла находку о рукав, торжественно надела на шею. Мысленно попросила: «Цепочка, сделай чудо. Спаси его!».

В животе, будто в ответ, забурчало. Обычно у Сони портилось настроение, когда ее физис своевольничал, но сейчас она восприняла неаппетитный звук как голос самой жизни. «Dum spiro spero», – подбодрила себя Соня. И почувствовала, что жутко голодна. Со вчерашнего вечера ничего не ела.

Пошла в сторону набережной.

Половинка монеты (все-таки это была монета, что-то испанское) покачивалась в такт шагам, щекотала голую кожу, которая немедленно начала зудеть. Не подцепить бы какую-нибудь паршу, подумала Соня и выпустила цепочку поверх рубашки, но, странное дело, зуд не прекратился. Наоборот, стал сильнее. Морщась, Соня почесалась. Решила, что перекусит не на улице, а в каком-нибудь сидячем заведении, где есть приличный туалет, с мылом.

Зашла в пиццерию «Венеция», с гондолой на вывеске. Пока готовили «дьяволу», как следует умылась: и лицо, и руки, и с особенной тщательностью между грудями. Даже лифчик сняла.

Вошла фифа в сиреновом лайковом пиджаке и дорогих темных очках со стразами. Одобрительно сказала:

– Классные сисяндры.

Вспыхнув, Соня поскорее застегнулась. Не выносила похабщины. Лифчик сунула в карман.

Женщина рассмеялась, подошла близко, подняла очки на лоб. Брови у нее были густые, сросшиеся, глаза черные, странно неподвижные. Они

смотрели не в лицо Соне, а на грудь, где покачивалась цепочка.

– Интере-есно, – протянула незнакомка.

– Что вам интересно? – неприязненно буркнула Соня, нажав кнопку сушилки.

Теперь стразовая фифа посмотрела ей в глаза, криповые брови слегка приподнялись.

– Интересно, – повторила она. – Московская девочка. Шоковое состояние. Но самое интересное, что девочка.

– В каком смысле? – рассердилась Соня. – Мальчики в женский туалет не ходят. Вы вообще кто? Что вам от меня нужно?

– Я вот кто.

Женщина вынула из кармана карточку.

«БАБА-ЯГА. Ясновидение, чары, заговоры», – прочитала Соня.

– Отстаньте, а? – сказала она. – Денег у меня нет. Поживиться нечем.

– Великий день. Долгожданный день. День, когда мост перестал соединять берега и половинки сойдутся, – едва слышно прошептала чокнутая тетка, а потом, уже громко, сказала: – Девочка, с тобой случилось что-то очень плохое. В твоих

глазах хаос. Тебе срочно нужна помощь. Я знаю здесь всё и всех. Считай, что я царица этих мест. Расскажи, что с тобой случилось.

И Соня затрепетала. Вдруг это оно – чудо?

– У меня друг в ментовке. На дороге был шмон, из-за взрыва. Его взяли, потому что нет документов.

– М-м-м, – задумчиво промычала ясновидящая, сверля Соню своими черными глазами. – И твоему другу есть, что скрывать, да? Первое, что они сделают – пробьют фото по розыскной базе, и кое-что обнаружат. Так?

Соня кивнула.

– Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю, – улыбнулась Баба-Яга одними алыми губами, взгляд остался пристальным. – Есть у меня в РУВД один конек-горбунок. Вытащит твоего бойфренда. Или он тебе не бойфренд?

– Он мне всё! – не очень складно воскликнула Соня и захлебнулась. От волнения ее заколотило.

– Нет, он тебе не бойфренд. Ты девочка-целочка, тут и ясновидения не нужно, – засмеялась женщина, и опять странно: лицо смеется, а глаза

нет. – И это, деточка, твой актив. Тот самый, который отворит темницу.

– Я не понимаю, – пролепетала Соня.

– Ну смотри, – перешла на деловой тон Баба-Яга. – Я тебя знать не знаю, ты мне никто. С какой стати я буду тратить свой ресурс на Конька-Горбунка, хапугу ментовского? Окажу тебе я службу, но, красавица, не в дружбу. А по бартеру.

– По какому бартеру? У меня нет ничего...

– Да как же нет? У тебя товар, у меня купец.

– Какой товар? Какой купец?

– Один местный барыга, у которого встает только на целочек. А они по нынешним временам большой дефицит. Короче oferta такая. Ночь отработаешь – утром вытаскиваю твоего импотента из ментовки. Но предупреждаю, клиент с причудами. Придется потерпеть. Согласна – звоню ему. Нет – иди жри свою пиццу, пока не остыла.

– Я согласна, – сразу ответила Соня. – Что угодно. Только спасите его... А вы меня не обманете?

Улыбнувшись, Баба-Яга вынула из сумочки золоченый «сяоми», открыла «контакты», показала

номер обозначенный как «К-Горбунок. Служебн.». Нажала. Включила громкую связь.

– Подполковник Курбанахмедов, – раздался сиплый голос.

– Привет, сахарный, это я, – проворковала чародейка. – А кто бабуленьке-Ягуленьке задолжал? Сделай мне, кисуля, один ма-аленький подарочек, и мы в расчете.

– Зависит, – ответила трубка. – Чего надо?

– Завтра утречком подскочу. Отдашь мне одного человечка, которого сегодня твои джигиты свинтили.

– А чего он натворил?

– Ничего. Просто документов не было. Брат моей знакомой, нормальный парень.

– И всё? Я его выпускаю, а ты мне за это...

– Да-да, – быстро перебила Баба-Яга. – Отдам. И мы квиты. Ну, до завтра. Чмоки.

Разъединилась.

– Так я звоню моему барыге? – спросила.

– Звоните, – без колебаний сказала Соня. – Куда идти?

– В «Лермонтов-палас». Пять минут отсюда.

* * *

Они шли молча. Чародейка впереди, Соня на два шага сзади, словно прикованная невидимой цепью. Была она вся одеревенелая. Ни о чем не думала. Гостиничный вестибюль едва заметила: что-то сверкающее, зеркально-мраморное.

В лифте Баба-Яга сказала:

– Прикольный кулончик. Давно он у тебя?

– Нет. Сегодня нашла. На пляже.

– Это он тебя нашел. Долго наверное искал. «Чистая дева двадцати лет и одного года» – это как розовый фламинго в Антарктиде.

Про чистую деву Соня не поняла и откуда сводня знает, что ей двадцать один год, тоже не спросила, а Баба-Яга ничего объяснять не стала.

Номер был шикарный, пентхаус с видом на бухту.

– Твое рабочее место – там.

Баба-Яга показала на дверь.

Внутри была широченная кровать, на стене и даже на потолке зеркала.

– Что теперь? – спросила Соня мертвым голосом.

– Я уже послала смс-ку. Мчится. Раздевайся, укладывайся.

Всю жизнь Соня стеснялась наготы, даже перед девчонками никогда догола не раздевалась, а сейчас ей было всё равно. Быстро скинула всё, закрыла глаза, чтобы не видеть себя в потолочном зеркале.

«Будет, как у гинеколога. Противно и больно, но необходимо», – сказала она себе.

Холодные пальцы тронули ее за плечо.

– На, выпей. Это настой поебень-травы. Всё тебе станет похеру. И время пролетит быстрее.

Соня приподнялась, выпила пахучего, сладковатого напитка, и всё стало лучше, чем похеру. Вообще ничего не стало.

* * *

Хозяйка пентхауса уложила бесчувственное тело поровнее. Наклонившись, долго рассматривала кулон, но не прикоснулась к нему.

Вышла, прикрыв за собою дверь.

Соня находилась нигде. Она была, но ее не было. Что-то проносилось в черноте, какие-то видения. Крутилась снежная метель, кто-то брел через туман, звучали стройные, но нечленораздельные речи, от которых сладко замирало сердце, грезил о чем-то скрипка, перламутрово журчала

гитара, и всё это заканчивалось, навсегда заканчивалось, а почему Соня твердо знала, что всё навсегда заканчивается, она объяснить не смогла бы – ее ведь не было.

Послышались голоса, женский и мужской. Они мешали, царапали, как ноготь о стекло, они были знаком того, что конец уже совсем близко.

Потом стало тихо. Раздался шорох, будто по ковру тянут что-то тяжелое.

Баба-Яга втащила в спальню голого мужчину, его безвольно откинутые руки волочились по полу.

Подхватила и легко, будто набитый пухом тюфяк, швырнула на кровать, рядом с одурманенной девушкой.

Он и она лежали бок о бок, касаясь друг друга плечами.

Баба-Яга сходила в соседнюю комнату. Вернулась с молотком и кривым ножом.

Скинула с себя одежду, пробормотала длинное заклинание, фыркающее и плюющееся. Сняла у мужчины с пальца перстень, представлявший собой согнутую серебряную монету, вернее полмонеты. Положила кольцо на тумбочку и не-

сколькими точными ударами молотка распрямила его.

Сняла у девушки с шеи цепочку, оторвала, швырнула на пол. Кулон оставила.

Теперь положила правую ладонь девушки на левую ладонь мужчины. Шевеля губами, очень осторожно поместила между ладонями сначала одну половинку монеты, затем другую.

Раздался звон. Монета срослась и залучилась сиянием, от которого Баба-Яга зажмурилась.

Схватив нож, она рассекла мужчине грудь, сунула руку в рану и рывком выдрала содрогающееся сердце. Бросила пульсирующий ком на кровать. Проделала то же самое с девушкой. Ее сердце было меньше, но билось чаще.

Отбросив нож, ведьма подобрала и мужское сердце. Подняла над головой обе руки и начала выжимать из сердец кровь, как воду из губки.

Багровая влага полилась убийце на волосы – и они мгновенно поседели. Брызнула на лицо – и оно вдруг стало меняться. В шесть секунд промелькнуло несколько женских ликов, один прекрасней другого, но финальное, окончательное лицо было ужасным: сморщенным, крючконосим,

с волосатой бородавкой на щеке и свирепо сияющими глазами. Струи дотекли до плеч – и они покрылись морщинами; до груди – и они обвисли; до живота – и он сделался землист; до паха – и там зашевелились пиявки.



– У-ха-ха-ха-ха! – торжествующе захохотала ведьма, любуясь на себя в зеркало. – На Калино-

вом мосту кинет Лихо в Пустоту! Гойда! Гойда! Любо!

И хлопнула в ладоши.

Распахнулась дверь санузла. Оттуда сам собой, стуча подставкой, припрыгал туалетный ершик. Вытянулся в длину, заколотил силиконом об пол, как застоявшийся конь копытом.

Баба-Яга запрыгнула на чудо-щетку, пронеслась по спальне, вышибла окно и взмыла из облака стеклянных осколков вверх, в черное беззвездное небо.

Пронеслась над освещенной набережной, над темной бухтой и, рассекая ночной воздух, устремилась туда, где над морем протянулся пунктир огней. Это был Крымский мост. В одном месте огни сливались в большое ярко освещенное пятно. Там кипели ремонтные работы.

– Любо! Любо! – услышали рабочие донесшийся сверху вой и те, которые были поумнее, перекрестились, но ничего не увидели.

Ведьма была уже далеко. Она спланировала на самую середину предсказанного в старинном пророчестве моста. Там, на заблокированном постами пространстве, было безлюдно.

Вскарабкавшись на перила, Баба-Яга высоко подняла лучащуюся монету, загоготала и швырнула ее в черную бездну.

Что-то там внизу булькнуло, ойкнуло, пискнуло.

И всё вернулось туда, где было – Никуда. Стало на Руси всегда ладно да лепо.

И Слава Богу.